

Роман Сейсенбаев



НОЧНЫЕ ГОЛОСА

Роман

(книга, написанная Айдаром Курмановым)

Примем Ничто, которое, может быть, ждет нас как несправедливость, будем сражаться с судьбой, даже не надеясь на победу, будем сражаться с ней по-донкихотски.

Мигель де Унамуньо

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ. Кто попытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск. И кто раскрывает символ, идет на риск.

Оскар Уайльд

НАЧАЛО, ИЛИ ПОПЫТКИ

Айдара Курманова овладеть вниманием читателя и сосредоточиться на чем-то главном, правдивом и серьезном, что само по себе является делом нелегким, но необходимым.

...И лишь по этой причине Айдар Курманов, тридцати семи лет от роду, по национальности казах, геолог по специальности, «молодой», как любят выражаться критики, писатель, пытается объяснить происхождение историй, сочиненных им или рассказанных ему случайными попутчиками, знакомыми, друзьями, когда он, оставив по своей воле обжитой дом в маленьком уютном городке, затерявшемся на срединных землях Сарыарки, желтой степи, тянущейся от Иртыша до оренбургских просторов, отправился странствовать по необъятной раскинувшейся от моря до моря, родной земле с ее лесами, полями, горами и, самое главное, людьми, простыми и сложными, угрюмыми и веселыми, добрыми и злыми – ибо писались эти истории и среди вокзальной толчеи, и в номере районной гостиницы, и в тихой избушке одинокой рязанской старухи, которая пустила его переночевать, и в тесной каюте парохода, медленно плывущего по Северной Двине, и в саkle кубачинского мастера, и в тесном двореке



где-то на окраине Тбилиси; и он попытался собрать эти истории воедино, когда вновь возвратился из дальних странствий в тот дом на срединных землях Сарыарки, где ждали его близкие, истосковавшиеся по нему, – шутка ли, целый год странствовал Айдар Курманов, лишь изредка посылая родным открытки с видами больших чужих городов; ибо уехал он в середине лета, в пору звездопада, а вернулся к родному очагу лишь следующей осенью, когда на полях уже собран урожай и труженики, устав от забот, могут немного отдохнуть, да и то не надолго, потому что весенние заботы приходят к пахарю еще зимой.

Что видел, сын, в землях дальних, спрашивала мать, приближаясь к нему и вращая колеса своего инвалидного кресла.

Многое, мама, многое...

Как живут там люди?

Хорошо, мама... Потом задумался и прибавил: по-разному, мама. Ну и слава Аллаху! Больше она не задала ему ни одного вопроса, зато неугомонные дети долго не отставали от него, расскажи, расскажи, расскажи, папа, – все-то им было интересно, и лишь его жена сидела молча, гордясь и любясь им, глядела на него, на детей, на мать строго и торжественно – она ждала его;

и он проснулся на рассвете, вышел на улицу – тихо, покойно. Зачем же я уезжал? Эта красота, эта тайна родной земли, ведома ли она мне, смогу ли я когда-нибудь раскрыть ее?

Не знаю, признался он самому себе, нет, все-таки прав я был, когда отправился странствовать по земле. Волка ноги кормят, сказал ему тот писатель в подмосковном поселке Абрамцево, сказал угрюмо и задумчиво, как бы пытаясь определить вес своих слов; тот писатель – замечательный мастер, с которым он давно мечтал встретиться, хотя многие в Москве пугали его, что живет мастер нелюдимо, никого не принимает и вряд ли захочет говорить с ним, но Айдар Курманов, на свой страх и риск, приехал в Абрамцево, и они гуляли по золотому осеннему лесу и говорили о всякой всячине, скромно, достойно, на равных, нет, все это неточные слова, он хотел сказать, что был благодарен ему за то, что держался тот просто и естественно, писатель был простужен, хмур, жаловался, что домашние заботы не отпускают его, беда, ремонт, больница, ведь он так любит путешествовать, но во всем его облике чувствовалась уверенность и внутренняя цельность; писатель полистал подаренную Айдаром книгу и сказал хриплым прокуренным голосом: не сердись, не обижайся, но читать я ее не стану. Я давно не читаю такие книги. И отдариться я ничем не смогу, своих книг у меня тоже нет;

и тогда Айдар Курманов вынул из сумки его сборник «Двое в декабре», писатель молча взглянул на книгу и поставил на первой странице размашистую подпись; и это была их первая встреча, потом была вторая, короткая, а затем и третья, последняя, когда Айдар стоял у его могилы; судьба, думал Айдар Курманов, волка ноги кормят, но от судьбы не убежишь, как бы ни были быстры твои ноги и крепко дыхание; ведь он сам много раз убегал, но не от судьбы, а наоборот – к ней, к своей судьбе; по крайней мере, так ему казалось всегда, и он доверял своим изначальным порывам;

три года назад перевез свою семью из шумной Алма-Аты в этот маленький уютный городок, затерявшийся на срединных землях Сарыарки, где и ему, и его домашним было так хорошо и где так славно, покойно и несуетно работалось ему первое время;

а в Алма-Ате он чувствовал ежедневную тягостную усталость, и не было времени, и не хватало денег, в маленьком городке тоже нужны деньги, но здесь другой уклад, иной быт, жили они всегда скромно, им хватало на жизнь, они были счастливы, тем более что у него наконец-то вышла книга и он получил за нее солидную, на его взгляд, сумму;

и решил написать роман, два года терзался он и терзал свою старенькую пишущую машинку, роман застопорился сразу же после первой части, но это была половина беды, другая заключалась в том, что ему не хотелось заканчивать роман, еще не написанный, он у ж е не нравился ему, а взяться за что-то новое, сочинить рассказ или маленькую повесть у него не **хватало** духу, ведь он – литератор, он – профессионал, он **должен** завершить, роман, если принялся за работу;

и тогда он призвал всю свою волю, чтобы отстоять право называться писателем, сутками сидел за письменным столом, но единственные и необходимые слова ускользали от него, казалось, они исчезали навсегда, ему никогда более не обладать ими, и это пугало, страшило его в те долгие летние дни и короткие ночи; и он забросил работу, часами ходил по тенистым улочкам, спускался к воде безучастно созерцая медленный бег тихой неширокой речки, теряющейся в безбрежной степи, такой родной и такой далекой от его стремлений и помыслов;

он еще никогда так остро не чувствовал свою никчемность, он не помнил, когда потерял темп письма, самое страшное в моем положении, думал он, это утрата мысли и умения строить сюжет, ведь раньше он работал так стремительно и сочинял так легко, а о чем писать и что вложить в уста героев сейчас, когда в голове сплошные вопросы, на которые нет ответа? Было трудно не только ему, его смятение передалось и домочадцам, он жалел их, но ничем не мог помочь им, как и они не в силах были помочь ему;

началась страда, и он отправился в соседний совхоз на уборку, но и там надолго не задержался; шумно, людно было на току, и он трудился в поте лица, как и подобает мужчине, но какая-то маята жгла ему душу, и он не получал удовлетворения от своего труда, ибо тело его просило тяжелой, выматывающей работы, но душа противилась всему, что требовало тело;

и он возвратился в город, вновь сел за стол, но теперь его рабочим кабинетом стала будка сторожа треста «Межколхозстрой», расположенного на окраине города, куда он временно устроился, чтобы чуть-чуть подработать, ибо деньги за книгу таяли, нужно было зарабатывать на хлеб, готовить детей в школу, покупать им зимнюю одежду, учебники, игрушки, а зарплаты, которую получала жена, и материнской пенсии им не хватало; он мог работать по специальности, так как был дипломированным геологом, но ему почему-то было стыдно от мысли, что он вновь вернется туда, откуда ушел столь решительно, веря в свою счастливую звезду и иное предназначение;

и тогда он впервые почувствовал, как стремительно уходят дни, не удержать этот поспешный бег времени, а от тяжелых туч, закрывших голубое небо, вмиг стало темно и неуютно, еще невыносимее показалась ему жизнь, и как работать в такие дни, но при чем здесь погода, ведь и в лунные ночи, когда падают звезды, ему казалось, что и он падает вместе с этими звездами в безвестную темноту, он нутром чувствовал это и содрогался;

но, зная, цену каторжного писательского труда, заранее пошел бы он на эту мучительную пытку? Неизвестно, ведь дороги назад нет, а впереди? Неужели впереди лишь мгlistый туман, бездонная пропасть? И было ему больно от этой безысходности, и он ругал себя крепкими мужскими словами, призывая не распускаться, ведь и сам он был крепок, силен, молод;

но что-то творилось с ним: ни сила, ни молодость не помогли ему, беда точила его изнутри, и в сердце был непокой;

оттого и мучился, оттого и страдал, может, бросить писать, видимо, не моего ума и характера это дело, я переоценил степень своего таланта и зря понадеялся на свои скромные способности;

он подозревал – причина его краха в том, что он обладает слишком высокой требовательностью и сам создает для себя преграды, преодолеть которые невозможно, силенок маловато, и тут же противился этим мыслям, зачем тогда писать, спрашивал он и не находил ответа; а ведь если бы нашел, то не мучился бы, тогда жизнь покатила бы веселее, а так – он знал много и ничего не знал, по-прежнему плутая к безнадежности;

и вот в одну из таких лунных ночей к нему в сторожку пришла жена, она присела к нему на постель и тихо сказала: уезжай куда-нибудь, поброди, поезди, развейся, посмотри, не томи, не мучай себя – мы верим в тебя, мы тебя любим;

тусклый свет керосиновой лампы; они глядели друг на друга, жена улыбнулась краешком губ, но, может, и не было этой улыбки, ему трудно сейчас вспомнить, как трудно вспомнить остальные подробности загадочного прихода жены в сторожескую будку, расположенную на окраине города, в столь поздний час;

и в молчаливом согласии легли они на его узкий самодельный топчан, а когда он проснулся утром, жены уже не было рядом, и теперь он иногда думал, что, может быть, этого не было вовсе: жена не приходила к нему и то, что он помнил, было сонным видением? но он не мог осмелиться спросить жену, была она у него ночью или нет, это было бы глупо, смешно и, возможно, оскорбительно для нее; и он вдруг воспрянул духом;

ибо, увидев голубое небо и простор полей, он вновь воззвал к своему мужеству, он понял – лишь мужество и отвага помогут ему вернуть то, что он потерял; и радостными были для него эти мысли;

в его дальнейшей жизни будет много новых открытий, много отчаяния, радостей, печали, смертей близких для него людей, но он никогда не забудет это раннее утро у сторожки, расположенной на окраине маленького города, затерявшегося на срединных землях Сарыарки; и он собрался в дорогу, не ведая, что она затянется на целый год;

а теперь он стоял во дворе своего родного дома, обратив лицо к жгучему солнцу, и был горд оттого, что сумел победить себя.

СЕСТРА ДРУГА

Милый читатель, спешу познакомить тебя с сестрой моего друга, ибо уже по названию становится понятно, что речь пойдет именно о ней, Умит. Но сначала о том, как Умит познакомилась со мной, и было это давным-давно, тем памятным летом, когда я и мой друг Омар приехали в аул, отчаянно гордясь своими новень-

кими университетскими дипломами: мой друг красным дипломом отличника, а же – простым синим.

Горный аул, родина Омара и Умит. Ледники, заоблачные вершины, безлюдные темно-синие хребты, от которых веет прохладой даже в самые жаркие дни. Крутые голые склоны с развалинами бесформенных каменных глыб, где лишь изредка мелькнет случайно затерявшееся среди холодного камня слабое сосновое деревце, чуждое сумрачным безжизненным скалам. Нужно ли говорить, что величественный облик этих гор страшил меня, сына широких степей, плоских, тающих в дымке пространств, страшил и подавлял своей беспощадной суровостью.

Мой друг не замечал моей тревоги и радовался, как мальчишка, встрече с родными местами. Пять лет прожили мы с Омаром в одной комнате общежития, делили, как говорится, и кусок хлеба, и глоток воды, и теперь, в преддверии новой, взрослой жизни, хотели торжественно распрощаться с теми нелегкими годами, когда оба грызли «гранит науки».

В аул мы приехали после полудня, но старые отец и мать друга, гордые тем, что их единственный сын первым в ауле окончил университет и получил высшее образование, уже успели созвать гостей на праздничный той, который должен был состояться тем же вечером. Мать, отец, родственники, соседи – все они были озабочены предпраздничными хлопотами и велели моему другу немедленно отправиться по домам и юртам к аксакалам и другим уважаемым людям, чтобы засвидетельствовать им свое почтение, как того требует обычай.

Я же, оставшись в одиночестве, решил искупаться в горной речке. День был жаркий, душный, безветренный, и люди поглядывали на небо, опасаясь грозы.

Я поднялся на ближайший перевал и замер – такая тишина стояла вокруг, и лишь глухой гул воды, бьющейся о камни, нарушал ее. Ведь в ауле моего друга не было ни машин, ни тракторов, их с успехом заменяли лошади и волы, которые выполняли всю необходимую горцу работу. В аул от подножия горы вела одна-единственная тропинка, отчего каждый приезжий из райцентра или области должен был, оставив машину на центральной усадьбе, весь остальной путь проделать верхом на лошади. С восходом солнца садились путники на коней и лишь к полудню добирались до аула.

Я спустился к речке и присел на громадный валун, нагретый солнцем. Течение в речке было быстрое, бешеное было течение, и я раздумал лезть в воду, несмотря на то, что слыл хорошим пловцом. Я вспомнил напутствие своего друга: «Если захочешь искупаться, поднимись выше, но без меня лучше не рискуй». Подниматься мне было лень, такое блаженное состояние покоя и свободы испытывал я. Поэтому и развалился на камне, закурив сигаретку и пуская голубой дымок в синеватый воздух.

– Здравствуйте, – услышал я голос и оглянулся. И увидел стройную черноглазую девушку.

– Здравствуйте, – сказал я.

– Давайте знакомиться, ага. Меня зовут Умит... Я – сестра Омара. А вы – Айдар Курманов, и вы пишете рассказы, я от коке знаю, – быстро заговорила девушка. (Она называла своего брата не «ага», как это принято у нас, а более ласковым словом «коке».)

– Пишу немножко, – улыбнулся я.

– Зря вы так! – Умит нахмурилась. – Я читала ваши рассказы, они мне нравятся. И наш учитель Ертай-ага вас хвалит. Вечером он придет к нам, и, если вы не верите, можете у него спросить...

– Ну если сам Ертай-ага так говорит, тогда конечно, – засмеялся я.

И Умит засмеялась. Сверкнула белозубой улыбкой, откинула длинные черные волосы, мило дрогнули полные красивые губы ее... Засмеялась. Смеялась. И черные глаза ее смеялись, излучая тепло, ласку, и овальное лицо ее порозовело от смеха, и видно было, что молодое тело ее полно здоровья и энергии: смилостивилась перед красавицей холодная и суровая здешняя природа, щедро одарила мягкой душевностью, свободными движениями, торжественной чистотой...

– Идемте, – сказала Умит.

– Куда? – удивился я, мечтательно глядя на нее... («Была б и у меня такая же красивая, нежная сестренка», – думал я.)

– Брат велел, чтоб я показала вам место, где можно искупаться. А сам он обещал нас нагнать...

Мы пошли вверх по речке.

– Айдар-ага, вас тоже оставили при университете? – спросила Умит.

– Нет, – замылся я. – Я, знаешь ли, не был таким прилежным студентом, как твой брат. И потом... у меня есть мечта. Я хочу работать в газете.

– Конечно... Вы же писатель, – убежденно сказала девушка и, не удержавшись, похвасталась: – А наш коке и школу закончил с золотой медалью.

– Вот видишь, какой он у вас молодец. А ты в каком классе? – спросил я.

– Только что перешла в девятый...

Погоди, закончит твой коке аспирантуру, получит квартиру, и вы переедете в Алма-Ату. Хочешь учиться в Алма-Ате?

– Айдар-ага, скажите, правда, что Алма-Ата самый красивый город на земле? – Умит шла впереди, показывая мне дорогу. Она резко остановилась, обернувшись ко мне, я чуть было не столкнулся с ней, и прикосновение к ее нежному, как шелк, горячему телу обожгло мои ладони. Я почувствовал, что лицо у меня залилось краской стыда, но она и не заметила моей неловкости.

– А здесь будьте осторожны, Айдар-ага... – Она протянула мне мягкую теплую ладонь, и я вздрогнул, как от удара электрическим током. А она, по-прежнему ничего не замечая, продолжала свою беспечную мечтательную болтовню.

– Конечно же, такой большой город, как Алма-Ата, непременно должен быть красивым, непременно...

– И ты в этом сама убедишься, – сказал я.

Девушка нахмурилась и убрала руку.

– Вот мы и пришли, Айдар-ага, – сказала она. – Мы с братом всегда здесь купаемся.

Лес кончился, и мы стояли на просторной зеленой поляне. Река текла совсем рядом, но текла она тихо, спокойно, будто набирая сил перед падением, после которого вновь обретала свой буйный нрав, и пенилась, и ворочала камни, и рассыпалась звонкими брызгами.

Тихий шорох речных волн, блеск воды, слепящий глаза...

– Родители не поедут в Алма-Ату, – спокойно сказала Умит, и невольно отметил, как гармонирует ее голос с наступившей тишиной. Я подумал, что река и девушка как-то связаны между собой. Затихла река, затихла и девушка.

Мысль показалась мне интересной, и я было полез в карман за блокнотом, но тут же рассердился на себя – ну что же это такое? «Ведь ты просто беседуешь с сестрой своего друга», – упрекнул я себя.

– Омар говорил, что собирается перевозить вас, как только укрепится в Алма-Ате, – сказал я Умит.

– Нет, отец никогда не пойдет на это.

– Ну, а если он женится?.. Если у него появятся дети? Да и вообще – разве не лучше, если все вы будете жить вместе? Я уверен, что Омар уговорит отца...

– Вы не знаете, какой у нашего отца характер, – медленно выговорила Умит и вдруг поспешно спросила, как будто только в эту секунду осознав смысл моих слов: – Айдар-ага, а что, у моего коке есть девушка?..

Я замялся. Не выдаю ли я тайну своего друга?

– Вы, наверное, всегда говорите правду, Айдар-ага?

– Да... есть, – все-таки сказал я.

– Наверное, красивая, да? – Умит зарделась, смущенно поглядывая на меня.

– Очень красивая, очень умная...

– И конечно, такая же круглая отличница, как и он сам, – продолжила мои слова Умит, и мы дружно засмеялись.

Но вскоре она снова смутилась.

– Айдар-ага, вы пока купайтесь. Омар сейчас придет, а мне нужно к столу смородины набрать...

И она побежала. Она бежала легко и быстро, как олененок. Милый читатель, ты скажешь, что сравнение мое избито, стерто, и клянусь тебе, что это было именно так. Сестра моего друга бежала легко и быстро, как олененок. Или как серна, если тебе будет угодно.

И вот прошло шесть лет. Омар год проработал в университете, закончил в Москве аспирантуру, возвратился в Алма-Ату и женился на той самой «круглой отличнице», о которой толковали мы с Умит. Мой непоседа друг по выходным дням брал палатку и вместе с женой, детьми поднимался в горы. Он часто бранил меня за то, что я сутками не выхожу из дома. «Великий Флобер работал в день по четырнадцать часов, но все же выкраивал время для физической закалки», – говорил он. И я соглашался с ним: «Знаю, все знаю. И Акутагава утверждал, как это? «Тот, кто пренебрегает шведской стенкой и вегетарианством, не должен помышлять о писательстве...». Но я более силен в теории, а ты – в практике», – отшучивался я.

Отшучивался... Ибо это было время, когда я мечтал, да что там мечтал, я был уверен, что непременно совершу какой-нибудь переворот в мировой литературе. Мне тогда исполнилось двадцать пять лет, и у меня уже вышла первая книга.

О, теперь-то я понимаю, понял, испытал на своей шкуре, что лишь моя необузданная молодость позволяла мне быть таким самоуверенным. Потом понял... Что я понял?.. Я понял, что мечтать о славе и известности в литературе иногда смешно, а иногда и просто преступно. И если ты хочешь быть писателем, будь им! Бойся ненужной суеты, пустого бахвальства, тщеславия, необязательных интервью, гладких статей, бесплодных споров. Существует всего две разновидности писателей. Одни из них – художники, другие – мыслители, есть писатель думающий и есть писатель чувствующий. Человек, сидящий за белым листом бумаги, должен понять это...

Горы. Горе. В то лето, когда Иссык-Куль вышел из берегов, случилась беда. Мой друг поехал купаться. Спасаясь от лавины, он увел детей на вершину горы, оставил их там и спустился вниз, чтобы помочь жене. Задыхаясь под тяжестью рюкзаков, они вышли на тропу, но бешеный селевой поток, сметающий все на своем пути, накрыл их и потащил за собой. Сын Омара сейчас воспитывается в ауле, у отца моего друга, а дочка – в Алма-Ате, у матери его жены. Семья из четырех человек: двое из них в могиле, двое разлучены...

Не пишется... Не пишется, а писать нужно. Нужно, хоть тресни. Ведь существует договор, существуют сроки, планы, обязательства. А – не пишется... Нервные вечера, бессонные ночи. И кофе уже не помогает, хоть ведрами его пей, и в горле першит от табачного дыма. И – не пишется. И – мучительное: часами буду сидеть за столом и никогда больше не смогу написать ничего!

В одну из таких жутких ночей я, окончательно отчаявшись и махнув на все рукой, принялся перебирать свои старые рукописи и внезапно наткнулся на письмо, которое написал мне Омар, когда учился в Москве

Ровные, четкие строчки... Стиль, звонкий, как поступь скакуна, его мысли – о жизни, о себе, обо мне; невинные излияния, признания, суждения, оценки. Печаль друга, тоскующего по родимым местам, жаждущего встречи со мной...

«В тебе есть три добродетели, которые необходимы каждому мужчине. Это любовь, дар прощения и щедрость души. Ты не эгоист, и поэтому в тебе не гаснет любовь к людям...»

«Боже мой! – прошептал я. – Омар, ты хвалишь Айдара, который не желает знать ничего, кроме своей писанины. Неужели ты умер, так до конца и не поняв меня?.. Ведь прошло три года, как ты погиб, а я ни разу не вспомнил тебя. Не написал ни одного письма твоим старым родителям, сестре, сыну. Ни разу не зашел к матери твоей жены, которая живет здесь же, в Алма-Ате, на параллельной улице. Любовь, дар прощения, щедрость души... Это твои качества, а не мои. Не мои!..»

Долго и бесцельно глядел я в темное ночное окошко: «И после этого ты смеешь называться человеком?.. Разве способно чувствовать сердце, которое смогло забыть старых родителей, сестру, детей друга, единственного друга?.. И какими кроткими, ангельскими словами должны эти чувства выразиться, лечь на бумагу? И разве не один шаг между богом и дьяволом, между человеком и бездной... Нужно немедленно... утром ехать в аул, а сейчас надо спать, спать...»

Я разделся, но заснуть не смог. Перед моими глазами стоял образ друга, и мне казалось, что друг мой смеется надо мной. Светало. Я встал под холодный душ, выпил чашку кофе, взял сумку и пошел к автовокзалу.

– Наша мать умерла в прошлом году... – сказала Умит.

– Почему ты не сообщила мне?

Умит не ответила. Мы возвращались домой со старого кладбища, что было расположено на холме

– Посидим здесь, – сказала она. – Отсюда наш аул как на ладони.

Мы уселись на поваленный ствол огромной лиственницы, опаленной молнией. Я решил, что она не расслышала, и хотел повторить свой вопрос, но Умит вдруг повернулась ко мне.

– Сразу как-то не догадались в суматохе, – сказала она, растирая пальцами веточку терпкой полыни, – а потом уже поздно было...

«Поздно... А сам-то ты где был?.. И не стыдно тебе расспрашивать?» Я снова был зол на себя.

Изменилась Умит. Не осталось на ее лице былой беззаботности, прежнего легкого веселья. Лишь черные ее глаза по-прежнему излучают добро – и свет. Сколько ей сейчас? Она вошла в ту пору, когда девичья красота расцветает, становится женственной, пышной. А Умит – красавица. Настоящая красавица. Такой красивой девушки и в столице не сыщешь...

– Помните, вы тогда говорили, что мы переедем в Алма-Ату? – спросила Умит, как бы подслушав мои мысли.

Помню...

– Может, и переехали бы, да вот... брат погиб, – вздохнула она. – А мама как заболела, узнав о его гибели, так больше и не поднималась. Она на моих руках умерла. Я ведь медсестрой теперь работаю в совхозе...

– А почему не стала дальше учиться?

– Учиться? А родители? – Умит глянула на меня. – В Алма-Ату они не хотели переезжать, даже когда коке был жив... Потом... год кое-как продержались, пока я в районе на курсах медсестер училась. Эх... Если бы коке был жив.

Она замолчала, взяла мою руку и стала гладить ее. Я вспомнил, как она вела меня за собой в тот далекий жаркий день. О, беззаботное светлое время, безоблачная светлая юность, каждодневное предчувствие праздника – как все это теперь далеко от меня! И от Умит. Умит, такая непосредственная, такая веселая, мечтательная, сегодня стала иной. Похоже, что она вытравила из сердца все свои чувства и теперь терзается от этого. Желая изменить свою жизнь, предпринять что-то, бьется она, как птица в клетке. Но прочны сети действительности, и она устало понимает, что никогда ей не выбраться из них. Одиноким путник, застигнутый бураном в ночной степи, подчиняется злой силе природы, вот и Умит смирилась, признала свое поражение, подчинилась воле судьбы.

– Тебе, наверное, скучно здесь? – невпопад вырвалось у меня, и она подняла голову.

От гор, как всегда, веяло холодом и отчужденностью – я с особой остротой почувствовал это... Открытое синее небо обволакивали темные, немые тучи, и это небо, нависшее над головой, давило, подавляло. Я понял – Умит, вот что было причиной моей неожиданной и яркой ненависти к этому миру, к этим слепым силам, которые так сурово расправились с ней...

Умит подняла голову. Раньше она смущалась, и щеки ее рдели, и она быстро опускала глаза. Но сейчас я увидел в ее взгляде гордость, ум, холодную сдержанность и понял, что ошибаюсь, понял, что не сломлена она, не поддавалась превратностям судьбы, а выросла гордой, вольной и сильной. Понял, что мужественный она человек, что достаточно у нее силы и честолюбия для борьбы с горем, судьбой, безмолвным одиночеством.

– Скучно, говорите? Нет, это не то слово. Я много думала и считаю: иногда люди не ценят то, что имеют. Они начинают суетиться, метаться. Так ведь, Айдар-ага?

Она впервые за все время нашей встречи назвала меня по имени. Пальцы ее задрожали, она поспешно вырвала свою руку из моей и быстро встала. На глазах у нее появились слезы, и она не хотела, чтоб я видел это.

– Идемте домой, Айдар-ага, – сказала она
– Я немного посижу здесь, хорошо?..
– Хорошо, только не забудьте – вечером вы приглашены на той. У нас в ауле свадьба

– Но ведь мы пойдем вместе? – удивился я.
– Нет, я не пойду, – коротко ответила она.
– Тогда и я не пойду. Что мне там одному делать?
– А вам нужно идти обязательно! – властно сказала Умит, и глаза ее сверкнули.
– А то еще подумают, что это я вас не пустила. Так что... вам нельзя не идти. Пусть это будет моей просьбой к вам, Айдар-ага. Вы же не хотите меня обидеть?

– Да в чем дело, расскажи хоть, – попросил я, окончательно сбитый с толку ее тоном, но она ничего не ответила, улыбнулась вымученной улыбкой и стала спускаться к аулу.

И мне казалось, что ее тайна идет за ней следом.

На свадьбу я взял с собой Акила, Акила Омаровича, девятилетнего сына моего покойного друга,

– Сынок, теперь ты ведешь по жизни нашего маленького Акила. Да благословит вас на этом пути всемогущий Аллах! – Сказав это, старик-крестьянин, отец Омара, провел ладонью по лицу. Молчаливый, знающий только свою извечную работу, он долго глядел нам вслед. А Умит даже не вышла, чтобы проводить нас.

В аулах той всегда начинается поздно, чтобы люди успели сделать свои домашние дела, управиться со скотиной, поэтому к жар-жар – песне свадьбы, мы приступили только около полуночи. Да к тому же и невеста с женихом, родственники и друзья невесты неожиданно задержались, когда ехали из города

В самый разгар свадьбы, когда вся молодежь вышла танцевать, ко мне подошел жених.

Я поздравил его и пожелал ему счастья.

– А я и так счастлив. Счастлив, что на мою свадьбу пришел такой человек, как вы, Айдар-ага, – польстил мне жених и ловко метнул в сторону докуренную сигарету. Широкогрудый, крепко сбитый, высокий, он, распрямив плечи, с улыбкой глядел на меня. Симпатичный парень, ничего не скажешь.

– Айдар-ага, я знаю, вы – лучший друг покойного Омар-ага, пусть земля ему будет пухом. – Парень легонько взял меня за локоть и отвел в сторону. – Но поверьте мне, что я в этой истории совершенно ни при чем. Умит не захотела оставить отца, а мои родители были против того, чтоб я пошел к ним в дом...

Тут я наконец сообразил, отчего так странно вела себя Умит там, на холме, возле лиственницы...

– И что же, никакого другого выхода не было? – спросил

– А какой еще может быть выход? – опешил парень. – Могли бы жить своим домом в этом же ауле.

Но ведь Умит сказала, что ни за что не расстанется с отцом. Можно подумать, что она всю жизнь будет водить его за собой, как привязанного...

– Но ведь и ты вроде бы не собираешься брать с собой своих родителей, – холодно заметил я, и жених, почувствовав мой тон, замолчал.

– Айдар-ага, это, конечно, верно... – сказал он после длительной паузы. – Но разве могу я жить пришлым зятем, когда мой дом в этом же ауле? Ведь это – по-

зор для джигита, позор неслыханный. А перед Умит моей вины нет. Она сама не захотела, сама заупрямилась, так что уж вы не обижайтесь. Невесту я привез из Алма-Аты, она там в институте учится, на третьем курсе»

– Ты любишь Умит? – спросил я.

– Да что теперь с того? Любишь, не любишь. Все это пустые слова, – безнадежно сказал парень.

– Пустые? Ты наверняка из тех, кто никогда не чувствует себя виноватым.

– Почему? Если мне докажут, я согласен повиниться. Я признаю свою вину, но докажите мне ее. Докажите! Не докажете! Потому что здесь виновата только Умит. Мне не верите, спросите у нее самой.

Меня трясло от гнева, и я не сдержался.

– У тебя слишком узкий лоб... У тебя обезьяний лоб, – сказал я.

Громко играла музыка, танцевала молодежь, и он не расслышал моих слов.

– Что вы говорите? – переспросил он.

– Для хорошего парня у тебя слишком узкий лоб, – повторил я.

Жених тяжело посмотрел на меня и сжал кулаки. Но тут подошла невеста и, метнув на меня неодобрительный взгляд, увела его. А я взял уснувшего Акила на руки и пошел домой.

Мы с Акилом ночевали прямо во дворе, на громадном деревянном топчане. Он спал спокойно и безмятежно, а я все ворочался и ворочался, слушая доносящийся с того края аула шум свадебного веселья, озорные песни, звуки домбры. Я понимал, что это была злая воля жениха, рассчитанная на Умит: «Вот посмотри, убедись, как весело я могу гулять, знай мою раздольную удаль, завидуй моему богатству, щедрости». И одного не мог понять – что же нашла в нем Умит, умная, тонкая, красивая Умит.

Звезды на небе померкли, а я все никак не мог заснуть, терзаясь этой загадкой.

Внезапно послышались чьи-то шаги, и я увидел, что это Умит вышла из дому. Переступив порог, она прислонилась к стене, прислушалась, вздохнула и села на порог. Она, по-видимому, считала, что мы с Акилом спим, и не обращала на нас внимания.

Я собрался подняться, чтобы утешить ее, как вдруг она тихо запела, и я узнал слова старой печальной казахской песни:

Не поскачет аргмак уставший.
И земля печальна – где же лунный свет?
Думала, что сердце я тебе отдам
Да напрасно – черствая душа твоя.

Она замолкла, потом вздохнула и повторила последние слова песни:

Думала, что сердце я тебе отдам.
Да напрасно – черствая душа твоя.

Она встала и тоскливо поправила шаль.

– А я-то его человеком считала, – сказала она и замолчала, глядя туда, на тот край аула.

В голосе ее слышалась обида, но она и не думала браниться или корить своего горделивого, неверного возлюбленного. И я понял – сестра моего друга обладает драгоценным даром – тем обостренным чувством чести, которое не позволяет человеку унизиться до ругани даже перед лицом предательства. Она была рождена под звездой справедливости, и никуда ей не уйти от своей горькой, но счастливой судьбы.

Тускнеют, гаснут звезды, но не смолкают песни, не утихает веселье на том краю аула. Молчит Умит. Молчу и я. Что тут скажешь? Как поймешь, отчего люди любят друг друга?

Утром я собрался в дорогу и протянул старику деньги, которые привез для них.

Старик поморщился и оттолкнул мою руку

– Ты что? Разве уважение измеряется деньгами? Убери деньги и не позорь мои седины! Если хочешь мне помочь, обещай быть опорой в жизни для этих сироток после моей смерти. Коли не трудно, пиши хоть изредка, нам и этого будет достаточно.

Сказав это, он, не попрощавшись, повернулся и ушел. Я поднял Акила и расцеловал его.

– Учись хорошо. Помни, твой отец всегда и везде был первым.

– Айдар-ага, я соскучился по Сауле... – Голос его дрожал, чувствовалось, что мальчик еле сдерживает слезы. – Может, в следующий раз вы привезете с собой мою сестренку?

Я не мог и слова выговорить в ответ. Я только крепче прижимал его к себе и кивал, кивал головой.

Умит и Акил, посадив меня на коня, проводили за аул.

– Будьте осторожны, дождь собирается, и камни будут скользкие, – предупредила меня Умит. Потом взяла меня за руку и снова погладила мои пальцы, – Айдар-ага, можно я вас поцелую? – Она обняла меня за шею и прикоснулась губами к моей щеке.

Я поцеловал ее в лоб. Я понял – нежность, предназначенная ею для брата, безысходная тоска по нему, которая останется теперь с нею на всю жизнь, вздох, мечта, одиночество – все эти чувства она передавала мне, его другу, оставшемуся жить на земле...

Близ перевала я оглянулся – они все еще стояли, держась за руки. И смотрели мне вслед.

Айдар Курманов возвращался с премьеры своего спектакля в полном одиночестве. Он шел один, потому что спектакль не понравился ему и он, забыв правила приличия, даже не подошел к режиссеру, поставившему его пьесу, от которой в спектакле не осталось ничего, почти ничего. Ничего из того, чем мучился он, Айдар, бессонными ночами, чему отдал он какую-то часть своей жизни, судьбы...

Проходя по одной из центральных улиц, он обратил внимание на двух молодых людей, парня и девушку, входящих в модный ресторан. Фигура, движения девушки показались ему знакомыми, и он остановился как вкопанный – Умит!.. Она, она!.. Но если Умит в Алма-Ате, то почему не дала ему знать о своем приезде? Может, обиделась за то, что он снова им не пишет?..

На двери ресторана криво висела фирменная, золотом по черному стеклу табличка: «Мест нет». Курманов поправил табличку и вошел в ресторан.

«Мест нет, назад, назад!» – бросился было к нему швейцар, бодрый краснощекий пенсионер шестидесяти двух лет, известная в городе персона «дядя Вита – бывший милиционер», как он сам представлялся.

«Мест нет», – еще раз крикнул он, но, узнав Курманова, остановился и лихо поднял руку, приветствуя старого клиента.

Огромный зал был полон. Метрдотель устраивал девушку и парня за крайний столик у окна. Умит! Это, несомненно, была она! Он приблизился к столику.

Умит? Нет, не Умит. Лицо, фигура как у Умит, но глаза другие, смех другой – чужая, чужая! Айдар Курманов, пятась, дошел до высокой стойки коктейль-бара и уселся на вертящийся красный стул. Жизнь той девушки из далекого горного аула так и осталась загадкой для него, и теперь, встретив в ресторане эту девушку, он вдруг почувствовал, что разгадка тайны где-то здесь, совсем близко. «Умит не ставила себя выше той среды, в которой выросла, – думал Айдар. – Счастье ее в том, что она составляет единое целое с суровой природой, ее окружающей, лесами, горами, буйными реками. С суровой природой и суровой жизнью, которая выпала на ее долю. В этом ее счастье. Ведь многие бегут от той жизни, которая им предназначена судьбой, в поисках другого счастья, другого, более нарядного, более праздничного, шумного, легкого существования. Сколько их, погибших в поисках призрачного. Сколько их пропало, сгорело, повесилось, застрелилось... Мне тоже нужно уезжать из Алма-Аты, – думал писатель. – Надо перебраться в маленький тихий городок и там писать, писать, писать. «Где много шума, там мало ума», – вспомнил он слова одного из своих героев...

В зале танцевали. Прищурившись, он долго смотрел на танцующих. Девушка, которую он спутал с Умит, вышла в круг, и он разглядел ее яркое модное платье с глубоким декольте. Лицо, фигура совсем как у Умит, но – другие глаза, другой смех, чужая жизнь. Ему показалось, что она направляется к нему. Ему показалось, будто из зеленой ресторанной стены выходит, мягко ступая и хитро улыбаясь, красно-бурая лукавая лисица. И направляется к нему. Айдар Курманов вышел из ресторана. Он заметил, что небо нахмурилось и с севера дует холодный ветер.

Все его тело охватил озноб.

ТИМУР

Уж до того я обозлился, что кипа бумаги перелетела через стол и рукопись в тысячу с лишним страниц шлепнулась на пол – листы рассыпались, и я устался на них долгим и пустым взглядом.

(Ни черта у меня не получится! О господи! Неужели снова придется все переписывать заново? И редактор ждет, и книга в плане стоит – неужели два с половиной года пропали даром?... Да и финансы мои – поют романсы мои финансы... Сдать эту чертову рукопись в издательство, а там видно будет – так или не так?... Или, может быть, все-таки попытаться переписать книгу еще раз? Чушь!.. Нет у меня больше на это ни сил, ни времени).

Я сам не заметил, как оказался на улице. Весна, как говорится, уже полностью вступила в свои права: люди сбросили тяжелые пальто и облачились в плащи.

куртки. Лишь старушки, лениво греющиеся на солнце, никак не решались перейти на весенне-летнюю форму одежды.

Вежливо поздоровавшись, я присел на скамейку, и старушки явно оживились при моем появлении – переглянулись, заулыбались, усердно закивали головами в ответ...

– Корреспондент, – уважительно сказала одна из них. – Мы с ним на одном этаже живем.

– Да не корреспондент он, а писатель.

– Тут разницы нет. Корреспондент – это и есть писатель... (Почему бы вам, почтеннейшие бабушки, потише не изъясняться?.. Или кто-то из нас на ухо туговат?..)

– Как же это его писателем назначили, такого молоденького, а?

– Потому что он непьющий, вот почему...

– Непьющий? А говорят, что все писатели пьяницы?

– А наш непьющий, вот его за это и назначили писателем.

– Ну и дай Бог ему счастья! – умилилась первая старушка.

– Хороший парень, хороший, – подхватила ее подруга.

(Что ж, спасибо, добрые бабушки, спасибо!.. Нравится мне жить в мире с соседями, да и похвалу в свой адрес лестно услышать, однако пора и честь знать. А то ведь, чего доброго, поговорят-поговорят старушки о моих достоинствах, а потом возьмут да и разделают меня в пух и прах. Старушки, они ведь, считай, те же критики. Расхвалят, вознесут до небес, а потом спихнут оттуда на грешную землю...)

Я встал, аккуратно бросил окурки в урну и построил старушкам любезную прощальную мину. И они снова заулыбались мне, забормотали торопливо:

– Будь здоров, милый, счастья тебе...

– Видите, он какой, наш сосед...

– Культурный человек, он и есть культурный...

(Скромная оценка того, что я не бросил окурки на землю, не нагрубил, не зашкварил в два пальца соловьем-разбойником...)

Я бесцельно шатался по весенним улицам, а из головы моей все не уходила мысль о книге. И что такое нашло на меня? Сил нет глядеть на чистую страницу, а от этого рехнуться можно! И почему год от году все труднее и труднее писать? Ведь по законам логики все должно быть наоборот...

Я и сам не заметил, как очутился близ кафе «Лотос» на берегу Иртыша.

– Шоколадку не желаете? – спросила меня барменша, выкрасившая волосы в жуткий белый цвет для пущей привлекательности.

– Кто же откажется принять шоколадку из ваших рук? – слюбезничал я.

Барменша захихикала и стала отсчитывать сдачу.

– Гусары сдачу не берут, – сказал я. (Щедрый джентльмен, представительный мужчина тридцати двух лет от роду, в джинсах «Ранглер».)

Я не глядел по сторонам, я был собой недоволен. Неужели нельзя было пообедать дома? Жена вчера вечером суп сварила. И непременно хороший суп, потому что жена моя обладает прекрасными кулинарными способностями. Да и как смеет бранить свою жену человек, не состоящий на штатной должности и зарабатывающий себе на суп художественной литературой?.. И стоит ли тратить время на кафе, а? Правда, дома нет этой веранды, нет этого солнца, этой панорамы – Иртыша, расцветающей весенней земли...

– Айдар! Вот уж не ожидал тебя тут встретить, старичок! Кто-то хлопнул меня по плечу, я поднял голову и не поверил своим глазам – передо мной стоял Тимур. Я вскочил, чуть было не свернув столик, и мы обнялись.

– Надо же, черт, вот и встретились!..

– Что ты тут один торчишь как сыч? – смеялся Тимур. – Идем к нам. Жанна, Жанна, мы сейчас, – махал он какой-то девушке, сидевшей за крайним столиком в одиночестве с недовольным лицом.

Мы подошли, и он познакомил нас.

– Это – Жанна. А это – наш «великий писатель Айдар Курманов» или просто Айдар.

Я сдержанно поклонился, и недовольство девушки вмиг рассеялось.

– А вы ничего пишете, я читала, – уверенно заговорила она. – Сексу, правда, маловато. Вы сюда часто заходите, а? Редко? Жаль, а то мы что-нибудь могли бы вам подсказать из жизни современной молодежи...

– Ладно, хватит болтать, – вдруг оборвал ее Тимур. – Ну и как дела идут? – обратился он ко мне.

– Тихоходом. Мимоходом, – сказал я.

– Стой. Я сейчас! – Он вдруг сорвался с места.

– Если ты за добавкой, то мне больше не надо! – крикнул я, но он уже скрылся за дверью.

– Вы, конечно, женаты? – Подруга Тимура вызывающе посмотрела на меня.

(Хороша, чертовка! И знает это. Потому и держится так свободно...)

– А вы, конечно же, не замужем?..

– У настоящего писателя, – изрекла она вместо ответа, – вообще не должно быть жены. Женщины – это враг таланта. А главное для творческой личности – свобода. Вы согласны со мной?

– Отчасти, – буркнул я.

– Зачем же отчасти? – упрекнула меня Жанна – Я, кстати, вычитала это в одном из ваших рассказов.

– А вы не вычитали там же, что фразу эту произносит тип отнюдь не положительный? – Я начинал сердиться.

И неизвестно, чем бы закончился этот наш «литературный» диспут, если бы не появился на веранде запыхавшийся Тимур.

– Давно ты здесь? – спросил я, когда мы наконец разговорились.

– Пару месяцев уже, – рассеянно отвечал он.

– А что не зашел?

– Заходил. Да ты, оказывается, переехал. – Он замешкался с сигаретой и вдруг зло улыбнулся. – А если признаться, не очень-то хотелось мне тебя видеть. Жанна, спички, шнеллер...

– О'кей! – Жанна перебросила ему через стол коробку, и он ловко поймал ее.

А у меня дрогнуло сердце. Я вдруг заметил, как изменился он: мешки под глазами, кожа серая, волосы заметно поредели и даже в плечах, кажется, уже стал. А ведь был джигит – по человеку на каждое плечо сажай! Чемпион республики по боксу, тяжеловес.

– Ну, поехали! За твои успехи в литературе! – И было непонятно, всерьез он говорит или издевается.

– Да ладно, будет тебе, – махнул я рукой. – Ты лучше расскажи, где пропал?

– Где я пропадал? – переспросил он. – А везде я пропадал! И строителем был, и матросом служил на колесном пароходе «Александр Пушкин», срывал аплодисменты в качестве штатного артиста народного театра, выступал в сложной роли странствующего художника, скульптора, создателя плакатов и небольших монументов за наличный расчет. Что ты так на меня уставился? Все, что я говорю, – чистая правда, а отнюдь не горькая ложь.

Он вдруг умолк, съезжился, и глаза его стали чужими и далекими. Я с тревогой глядывался в изменившееся лицо друга, а он сидел мрачный и равнодушный, занятый какими-то своими мыслями. И казалось, ничто в целом свете не сможет сейчас вывести его из этого оцепенения.

А еще у нас в компании были Елжан, Аркаша, Алтын... Елжан живет сейчас в Алма-Ате, стал кинорежиссером. Аркаша работает завскладом на какой-то базе в Кустанае. Алтын осталась в нашем городе и учителствует в школе. Года два, а то и три, пожалуй, не видел я ее... Ребята с нашего двора...

Мы с Тимуром были влюблены в Алтын, но мне никак не везло, и Алтын всегда предпочитала Тимура. Да и были на то весомые причины. Тимур – лучший ученик в классе. Тимур – художник. Поэт. В областной газете он печатался чуть ли не с девятого класса. И вдобавок боксер, человек, который не даст в обиду ни себя, ни свою девушку. Я, правда, тоже был тогда неплохим боксером, но учился куда хуже Тимура. А к живописи, песням, стихам вообще нет никакой тяги.

Порой, собираясь во дворе, мы часами слушали, как Тимур поет под гитару. Голос у него отменный, и песни, чужие и собственного сочинения, он исполнял здорово. Однако мне было горько, когда я видел, как заботливо накидывает он куртку на плечи прильнувшей к нему Алтын и как Алтын что-то шепчет ему. Мы заканчивали тогда десятый класс.

А вскоре и расстались. Тимур, закончив школу с золотой медалью, уехал в Ленинград и поступил в Академию художеств, я стал студентом Алма-Атинского политехнического института. Алтын сдала экзамены в местный пединститут, Елжана и Аркашу взяли в армию... В одно лето разлетелись мы со двора, как подросшие птенцы...

– Пейте, товарищ писатель! – Тимур налил мне полную рюмку, и я только сейчас заметил, что он разглядывает меня в упор.

От его пристального взгляда мне стало не по себе. Я отказался.

– Посмотрим, как пьют писатели, – Жанна, подперев круглый подбородок ладошкой, повернулась ко мне.

– Не морочь людям голову! – оборвал ее Тимур. – Не лезь к человеку. Заткнись!

– Ты что?.. Шуток не понимаешь? Ох и грубиян ты! – возмутилась Жанна и встала. А уходя, тихонько спросила: – Вечером придешь?

– Убирайся! – Тимур и не посмотрел на нее.

– Ну тогда чао, миленький! И не думай, что вечером я буду рыдать у темного окошка. – Жанна подмигнула мне.

– Дрянь! – процедил сквозь зубы Тимур.

– Ну не злись... Зря ты, – успокаивал я его. – Ты любишь ее?

– Не люблю. Я друзей люблю. Я тебя люблю. Ты мне веришь? Веришь или нет?.. – Тимур заметно опьянел.

– Верю.

– Ну, тогда поехали.

– Может, хватит?

– Нам хватит, когда нам не будет хватать, а? Понимаешь? И Тимур засмеялся весьма довольный своей туманной остротой. Мы помолчали.

– Устал я, – тихо сказал он. – Ох, если бы ты знал, как я устал, Айдар.

Люди уже расходились, у могилы остались лишь мы с Тимуром. Нет, старик какой-то еще торчал за нашими спинами. За все время похорон Тимур не проронила ни слезинки, и сейчас его глаза были сухими.

– Прощай, мама! – пробормотал он. – И прости меня.

Старик вдруг тронул Тимура за рукав и потянулся, чтобы обнять его, но Тимур отшатнулся.

– Пошли, Айдар, – сказал он, с ненавистью глядя на старика. Я замешкался, а старик опустил глаза

– Крепись, сынок, – как бы выдавил он из себя. – Один остался. Будь счастлив.

Пусть Аллах поддержит тебя...

Выбравшись с кладбища, мы оглянулись – старик опустившись на корточки, сидел у могилы, и Тимур резко прибавил шагу.

К его дому мы подъехали на такси. Всю дорогу он молчал откинувшись на сиденье, и о чем-то сосредоточенно думал.

Вошли в квартиру. Он поставил на плитку чайник.

– Снимай пальто, – сказал он.

– Да мне, знаешь, мне ведь на работу... – промямлил было я.

– Не ходи, если можешь. Позвони, что ли...

Я позвонил в свой НИИ и сказал, что прошу на сегодня отгул. Въедливый начальник моего отдела пристал с расспросами: «Похороны? Чьи похороны? Это ваш родственник?» Я как мог объяснился с ним.

Я молча глядел на стену, где рядом с портретами Хемингуэя, Толстого, фотографиями кинозвезд висели акварельные наброски самого Тимура. Я уже знал, проучившись в академии ровно год, он забросил учебу и с тех пор никуда больше не поступал. Летом, когда я приезжал из Алма-Аты на каникулы, его обычно не бывало в городе. Я шел к его матери. Айша-апай радостно встречала меня и неизменно усаживала пить чай. О делах Тимура она всегда отзывалась с большой гордостью.

«Нынче он на Камчатку уехал. Говорит, рисовать там будет. Он ведь художник».

В другой раз она сообщала:

«В кино снимается. Артистом стал».

И еще:

«На стройке работает. Подкоплю, говорит, деньжонок, путевку куплю – вокруг Европы на теплоходе».

Мать вызвала его телеграммой, когда окончательно слегла и почувствовала, что близится ее последний час.

Потом мы долго молчали, и он вдруг выпалил:

– Ты понял, кто этот старик?

– Какой старик?

– На кладбище Этот старик – мой отец!

– Да ты что... – Я растерялся, не зная, что сказать. Сколько я помнил, всегда Тимур с матерью жили одни.

– Ты слушай, – сказал он. – Я родился в сорок третьем году, а отец мой погиб в сорок первом под Москвой. Бедная мама!.. А этот! – Он скрипнул зубами и передразнил старика: – «Аллах поддержит!» А когда мать живая была, когда я мальчишкой был, копейки нам, куска хлеба не дал!..

– Успокойся, успокойся, Тимур, – тронул я его за плечо.

И тут в прихожей раздался звонок, Тимур пошел открывать.

Алтын! Она пришла с мужем, муж ее, как оказалось, работал в нашем городе таксистом. Она что-то говорила мне, кивала головой. А я искоса поглядывал на ее мужа. И что нашла она в нем? Низкорослый, приземистый, рыжий, грубоватый. Алтын разрыдалась.

– Ты ведь теперь один на свете, совсем один!..

Они посидели немного.

Муж ее, осушив рюмку до дна, тронул Алтын за плечо. Попрощавшись, они ушли, но у самого порога Алтын обернулась – глаза ее наполнились слезами, казалось, она еще что-то хотела сказать... крикнуть, но смолчала, отчаянно махнула рукой, и дверь захлопнулась.

До утра мы не могли заснуть. Тимур сначала молчал, а потом долго и горячо говорил... Я не помню точного смысла его речей, но отдельные фразы: «Я еще буду большим художником», «Я им еще покажу!» – нет-нет да и всплывали потом в моей памяти...

– Пошли, – сказал изрядно опьяневший Тимур.

– Куда? – не понял я.

– К нам... ко мне идем, домой...

(Пойти или не пойти? Пьяный ведь он? Ну да все равно – делать нечего, и день все равно убит...)

За столиком у выхода в компании трех загулявших парней восседала Жанна.

– Тимур, эй!.. – громко позвала она.

Тимур молча прошел мимо.

– Слушай, – сказал он. – Ты не можешь купить еще бутылку, а то у меня деньги кончились?

Я сначала заколебался, потом молча кивнул головой.

– Посидим вон там на скамейке, а? – сказал я, когда мы вошли в знакомый двор, двор нашего детства.

Но Тимур отмахнулся. Он явно спешил, и мне пришлось без разговоров следовать за ним. (Каким большим казался мне раньше наш двор, а теперь он стал маленьким – съезжился, что ли, от времени?..)

Однокомнатная квартира Тимура выглядела уныло. Исчезли портреты писателей, пропали акварели... Протертый диван да проигрыватель на полу – вот и вся обстановка.

– Что встал? Проходи! – в каком-то непонятном раздражении прикрикнул он.

– Денег не хватает, вот и продаю, – кивнул он на книжный шкаф.

Тимур спешил. Он принес из кухни алюминиевую кружку, торопливыми дрожащими руками наполнил ее и, не дожидаясь меня, выпил. Секунду он помолчал, закрыв глаза, а потом встал и, значительно повеселев, включил проигрыватель.

– Маэстро Верди говорит свой тост. – Он сел рядом со мной. – Ты слышал что-нибудь об Аркаше и Елжане?

– А мне наплевать, где они и что с ними, – лениво ответил Тимур и добавил. – Молчи. Слушай эту божественную музыку!..

Мощные звуки реквиема заполнили комнату.

– Выпьем! Маэстро говорит свой тост. – Тимур снова подлил себе в кружку.

– Закусил бы чем-нибудь, а то совсем опьянеешь, – осторожно сказал я.

– Ерунда! – он вытащил сигаретку и вдруг поинтересовался. – Ты с Алтын не встречаешься?

– Года два ее не видел. А ты?

– Я? Видел. – Тимур ухмыльнулся и пустил в потолок струйку дыма. – Вчера у меня ночевала – с мужем она разошлась, да будет тебе известно.

Я молчал. Ревность и злоба жгли меня. (Алтын – Золотая. Лучшеего имени не могли придумать для тебя родители. И ты с этим пропойцей?.. А я... Я до сих пор люблю тебя... Почему мы не вместе? Почему? Что за загадка эта жизнь? Кто ответит?..)

– И все же это великое счастье, когда один человек понимает другого, – сказал я, но Тимур, казалось, не слышал меня, язык у него заплетался.

– Любовь не терпит соперничества, – изрекал он. – Формулу любви не в силах определить даже кибернетическая машина. Любовь – это уравнение с миллионом неизвестных...

(Ого, он уже не соображает...)

– И у нее ведь жизнь не жизнь... Это я про Алтын. – Тимур смеялся мне в лицо.

– Все мы ничтожества! Ты тоже! – Он ткнул в меня пальцем. – И если ты строишь какие-то иллюзии, расстанься с ними.

– А ты? – крикнул я. – Кто ты? Ты загубил свою жизнь, жизнь матери, сейчас добрался до Алтын!

Тимур не шелохнулся. И взгляд его стал таким пустым, таким тоскливым, что мне стало жалко его.

– Прости, я, пожалуй, погорячился, – пробормотал я.

– Уходи! Уходи отсюда, – сказал он. – А впрочем, нет, постой, стой, не уходи, – забормотал он и вдруг быстрыми шагами направился в ванную.

Однако на полдороге он остановился и резко развернулся. И страшным, черным было его лицо от прилившей крови.

– Мы все скоты! – хрипло завизжал он. – Я – варвар. Когда мама умирала, я вводил себе ее морфий. Я – безжалостное отродье, но я – гений. А вы все – дураки. Я – гений, я сочинил реквием, – бредил он, – Вот послушай мой реквием!..

Он схватил гитару и стал ожесточенно лупить по струнам

– Это – вечное произведение! – орал он. – И оно никогда не умрет! Я – гений!

(Господи, что ты с собой сделал. Неужели ты кончился как человек? Неужели нет больше на земле Тимура, ласкового и талантливого парня, а есть лишь оголтелый безумец, алкоголик и завистник?).

Я встал и направился к выходу, но он загородил мне дорогу:

– Ты куда?

– Я ухожу. Прощай.

– Боюсь... Ночью... Один... Серая мышь... Боюсь... Буду пить... – дрожал он.

– Дай денег.

– Сколько?

– Сколько не жалко. Буду пить. Боюсь.

Я вынул из кармана десятку. Выхватив бумажку, он невнятно забормотал:

– Позже верну, позже... Фильм сниму, картину напишу... отдам...

– Остаться с тобой? – Я посмотрел на него.

– Убирайся прочь, – грубо ответил он.

Очнувшись во дворе, я поглядел на его окно. Прикинув лицом к стеклу, Тимур глядел мне вслед. И мне показалось, что он плачет...

(Нет, нет. Это его дела. Он сам виноват во всем, он взрослый человек, и я не нянька ему...)

Я решительно зашагал прочь. (Не оборачиваться! А вдруг он все еще смотрит мне в спину? Не оборачиваться! А может, обернуться? Может, остаться с ним?)

Я ускорил шаги. Острый холод ощущал я в лопатках..

* * *

Зажглись фонари. Я взял из детского сада сынишку, и мы отправились домой.

– Папа, почему ты дрожишь? – спросил он.

– Голова болит. Простудился, наверное, – ответил я.

– А-а... – Мальчик согласно кивнул головой, – А я дрожу, когда боюсь. Почему это, папа?

– Гм-м... – промычал я в ответ, ибо не было у меня других слов.

– Ты дома? – обрадовалась жена, явившаяся вслед за нами. – Ты знаешь, мне сегодня так повезло, так повезло, ты себе и представить не можешь!..

«Не иначе как барахло какое дефицитное ей перепало», – подумал я. И точно.

– Что я достала! Погляди! – Она кокетливо накинута на плечи белую пушистую шубку. – Нравится?

Я неопределенно пожал плечами.

– Австралийская!.. – Она гладила мех, дула на него, вертелась перед зеркалом.

– Идет, правда?

Я видел ее брови, выщипанные в узенькую ниточку, затененные веки, жирно накрашенные губы. Я молчал, и мое молчание насторожило ее.

– Выпил? – Она подозрительно вглядывалась в мое лицо.

– Нет.

– Ты пьян?

– Нет.

– Негодяй! О работе, о семье бы подумал!..

Она хлопнула дверь.

А я глядел на кучу бумаги. Тысяча с лишним страниц... И нельзя ведь с такой уж определенностью утверждать, что все, мною написанное, ерунда. Есть ведь в

моей книге и удачные куски, искренние сцены. Однако не страшнее ли откровенной лжи эта приблизительность, видимость правды? И почему нет в этой книге Тимура, который был талантливее всех нас, честнее и добрее всех нас, а теперь вот, необратимо превращаясь в развалину с трясущимися руками, тоскливо глядит нам вдогонку?.. Нет, нет и нет! Все придется начать сначала.

...Ветка липы тычется в темное стекло, мягко наплывает теплый воздух, влажная осенняя ночь окутала усталую землю. И в ночное безмолвие внезапно врываются мощные звуки реквиема, и мне становится легче, и я понимаю, что и я, и Тимур, мы выстоим, что еще не все потеряно, нужно лишь крепко стоять на этой земле.

Завтра? Нет, уже сегодня... Часы пробили полночь.

РЕКВИЕМ ПО ШУБЕ

Мелодичная песня, которую он резво насвистывал, ее хватило бы до самого конца пути, но, свернув за угол, Сайлау неожиданно смолк: то ли разонравился ему знакомый мотив, то ли вообще расхотелось свистеть на раннем утреннем морозе; он глубоко вздохнул, нашарил в глубоком кармане нового черного полушубка пачку «Примы» и, сторонясь от ветра, закурил. Коробок со спичками рассеянно сунул в карман и... промахнулся. Коробок шмякнулся на стылый тротуар.

«Черт! – крикнул Сайлау, подобрав спички. – Вишь ты как! Новая вещь, она и есть новая вещь. В этой... куфайке-фуфайке... карман выше был, вот в чем дело. Однако молодец Шайза! И легко, и тепло, и удобно. Черный полушубок, как говорится, не выдаст – где б ни лазил, в мазут можешь попасть, и то незаметно...»

«Но ведь Шайза сказала: беречь, беречь шубу надо, и не вздумай на грязный свой бульдозер в новой шубе лазать, достала по блату», – вспомнил он.

Вспомнил и усмехнулся. Вспомнил свой бульдозер, и потеплело на душе. А усмехнулся тому, что, как барышня, не может наглядеться на обновку: то глаз на длинную полу скосит, то с удовольствием понюхает рукав, остро пахнувший на морозе овчиной.

– Классная вещь! Молодец, Шайза! – сказал он.

Сказал и тут же смутился. Потому что, неуклюже обгоняя его, по скользкому тротуару пробегали, смеясь, две девушки. Со стройки, видать, – в подшитых валенках, замасленных спецовках, толстых ватных штанах, которые, путали резвую их походку, но отнюдь не скрывали их нежных очертаний.

– Фьють! – присвистнул он, но красавицы не обернулись.

– Эй! Свои свистят! – сказал Сайлау, но девушки, увлеченные разговором, не слышали его.

А может, слышали, да не захотели поворачиваться, и это сильно понравилось Сайлау, потому что он уважал только тех женщин, которые не оборачиваются на свистки. Когда они ругались с Шайзой и та в сердцах кричала ему: «Ах, боже мой, зачем я только тебя встретила?!», Сайлау ей всегда спокойно отвечал: «Не ты меня встретила, а я тебе вслед засвистел, но ты не обернулась. Кто тебя, спрашивается, заставил так гордо голову нести, что я заговорил с тобой и был вынужден на тебе жениться? Кто? А?»

Ну, это он, разумеется, дурака валял, и Шайза, остывая, еле удерживалась от улыбки. Хоть и грозилась частенько в припадках ярости, что уйдет, убежит к родителям и всех шестерых с собой заберет, но и тут лукавила – нежно она была привязана к своему тихому чудаковатому мужу и этим шестерым, мал мала меньше, пацанятам. Вон они все, следуя его примеру, разбирают велосипеды, игрушечные машины, а потом снова их собирают. Как папа тракторные детали: папе и дома покою нету – притащил с работы какие-то железки, моет их в вонючем бензине, продувает, чуть ли не целует. И эти такие же будут... Известное дело – мальчишки!..

– Ты на одну бы хоть девчонку расстарался, а то все мальчишки да мальчишки, – говорила она, чтобы последнее слово все же осталось за ней.

Сайлау в ответ улыбался и молчал. Да и что на это ответишь? Да и для чего женщине ответы? С нее и вопросов достаточно...

Поднимаясь на виадук, Сайлау глянул на часы и с удовольствием отметил, что времени до начала работы предостаточно. Он любил утром и вечером, до и после работы, постоять на виадуке, полюбоваться с высоты на тихие улочки родного городка, понаблюдать за поездами, маневрирующими на станции или стремительно проносющимися по магистрали, туда-туда, далеко... Центр вон как застраивается – ломают старые домишки. Их халупу тоже скоро снесут, обещали к весне выделить пятикомнатную на улице Гагарина. Шайза ждет не дождется... Да и детям, конечно, нужно... Да и ему – что говорить... А все же как хорошо – шагать утром, задерживаться на мосту, любуясь едва-едва просыпающимися улочками. На новой квартире этого уже не будет.

«Снега, жалко, нету, – подумал Сайлау. – Всего неделя осталась до Нового года, а снега нет и нет. Какой же это Новый год без снега? Да и потеплело бы, если бы снег выпал...»

И вдруг, приглядевшись, опрометью бросился с виадука: вагон состава, стоящего на дальних путях, дымился, и Сайлау сначала показалось, что это пар так может куриться – может, скот везут, Но алым вдруг, ярким полыхнуло в сумерках! Вагон горел, в этом не было никакого сомнения! И никого рядом не было!..

Мгновенно вспотев, расстегивая пуговицы, Сайлау подбежал к вагону и, обрывая ногти, открутил свинцовую пломбу на громадном засове. Но сам засов никак не поддавался, и Сайлау выл от бессильной злобы и ярости. Из вагона доносилось отчаянное конское ржание, лошади, обезумев, бились о стенки вагона!..

Камень бы! Камень! Или железку какую!.. Вагонка треснула, это лошади копытами проббили толстую доску, и из образовавшейся щели немедленно повалил плотный дым. Сайлау, изловчившись, выбил наконец засов и, распахнув одну створку двери, тут же опрокинулся навзничь: другую створку вышибли бешеные от страха животные, и над ним лишь мелькали их неподкованные копыта.

Потом все стихло, лишь жарко потрескивало пламя. Сайлау запрыгнул в вагон и с ужасом увидел, что не все кони разбежались: объятый пламенем рыжий гривастый жеребец метался на привязи, взлетал к потолку, рвался к свежему воздуху, задыхался, хрипел, оскалившись, крушил копытами стену. Сайлау, выбрав удобный момент, нырнул к нему под шею и с трудом развязал затянувшийся в мертвый узел волосяной аркан. Жеребец крупом метнул своего спасителя в стенку и опрометью вылетел из вагона. А Сайлау, на миг чуть не потерявший сознание

от удара и почти не соображающий, что делает, сорвал с себя полушубок и, задышавшись от дыма, стал колотить полушубком по огню.

Однако к вагону уже бежали. Ударил струя огнетушителя, и огонь, зашипев, сдался. Из вагона валили клубы едкого, удушливого пара. Пожар был потушен.

Кто-то, невидимый в едком тумане, осторожно взял Сайлау за руку. Сайлау хотел вырваться и сказать, что джигиту не нужны поводыри, но то ли от дыма, то ли от сотрясения у него сильно кружилась голова, и он не смог сопротивляться.

Голоса:

– Молодец, настоящий джигит!..

– Ни восьми бы лошадей, ни вагона не нашли...

– Дежурного по вокзалу... «Скорую»...

– Волосы опалил. Сам черный. Герой!..

– Жеребец, – прошептал Сайлау, бессильно опустившийся на шпалы.

– Чего? – не понял его какой-то высокий кудлатый парень без шапки. Он вроде бы и выводил Сайлау из вагона.

– Жеребец цел?

– Да цел, цел, – успокоил его парень. – Мы, когда бежали, заарканили его и пламя сбили, а то бы сгорел к чертовой бабушке!..

Парень сплюнул, у Сайлау снова закружилась голова, и он закрыл глаза.

Рыжий жеребец, объятый пламенем, звонко цокает по асфальту, не удаляется, мчится прямо на Сайлау, ближе-ближе, пронесся над головой – как ножом разрезал ледяной воздух.

– Это какая же сволочь окуроч в вагон бросила?.. Нет, ну есть же еще мерзавцы на земле! А вас, граждане, я попрошу разойтись, вам тут не театр. Да не мешайте вы!.. Елена Васильевна, приступай, будем акт составлять!..

– Каркен Есенович, спасибо сказать нужно этим людям. Если бы не они – не оберешься бы мы хлопот!

– Да, это вы верно говорите. Кто из вас, товарищи, пожар тушил?

Сайлау открыл глаза и увидел, что у вагона стоят двое железнодорожников: низенький толстячок средних лет и молодая красивая девушка в красной фуражке.

– Все тушили, – ответил кто-то из толпы.

– Как это так – все? – удивился Каркен Есенович. – Вас же много?..

– А ты что, награду нам хочешь дать? Так не беспокойся, мы как-нибудь сумеем ее разделить, – ответил тот же голос. – Конечно, не все тушили. Ты, например, не тушил, поэтому приглашай нас всех за храбрость в столовую.

У тебя столовая только и есть на уме, – недовольно сказал железнодорожник. – Я ведь тебя узнал, Карим.

– А у тебя, видать, только ресторан. Проворонил пожар, а теперь тут шорох наводишь, мгновенно отозвался невидимый Карим. Он явно за словом в карман не лазил, и в толпе послышались смешки.

– Кончайте вы тут базар разводить! – вдруг рассердился тот, давешний кудлатый парень. – Человеку плохо, он жизнью рисковал, а вы тут... развели. Вот кто пожар потушил. Дойдешь до дому-то?

Сайлау встал и слегка покачнулся. Девушка и парень подхватили его, бросился к нему и Каркен Есенович:

– Спасибо вам. Ваш подвиг не будет забыт работниками нашей станции...

– Какой там подвиг, ладно уж, – слабо улыбнулся Сайлау.

– Ой, вы простудитесь! – Девушка подняла с земли шапку и подала ее Сайлау, с восхищением глядя на его черное от копоти лицо.

– Ничего, – сказал Сайлау.

– Вы скажите, где работаете, мы вам туда напишем благодарность, – снова вмешался толстячок.

– Ладно... Что мне благодарность... – Сайлау, не отрываясь, смотрел на Елену Васильевну, и она вдруг отвела взгляд – почему-то почувствовала себя неловко.

– Мы вам дадим машину, пусть вас домой отвезут, – сказала она.

– Ладно... Что мне машина... Я на работу пойду, – Сайлау все глядел и глядел на красивую железнодорожницу и вдруг, потянув за рукав свою шубу, с ужасом увидел, что от обновки остались только рукава да воротник, от которого несло паленым.

На миг он растерялся, но потом взял в охапку остатки полушубка, поднял воротник теплого свитера и подмигнул железнодорожнице.

– Не беда, аксакал, ведь правда? – И обратился к Елене Васильевне: – Я рад, что вас увидел. Вы такая красивая!..

– Правда? – девушка улыбнулась и слегка покраснела.

– Правда, ох правда! – сокрушенно подтвердил Сайлау.

– В таком случае, спасибо за комплимент. И не отказывались бы вы все-таки от нашей помощи, товарищ герой.

– Да ничего мне от вас не нужно, – рассердился Сайлау.

Рассердился и прораб Ильясов.

– Ты что, Сайлау, себе позволяешь? Ты забыл, что мы кровь из носу, а должны к Новому году объект сдать, – зашумел он, когда Сайлау, переодевшийся в старый, пропитанный соляжкой и маслом бушлат, въехал на своем бульдозере на территорию стройки.

– Видите ли, я... – начал было оправдываться Сайлау.

– Я вижу, дорогой, что ты на целый час опоздал, – Ильясов и слова ему не дал сказать. – Мы вон людей с других предприятий снимали, только чтобы две наши девятиэтажки были к Новому году готовы, ведь обещали же рабочим осенью, что справят они к Новому году новоселье, а ты... Не ожидал я от тебя, не ожидал. Наказывать тебя не буду – первый раз ты меня подвел, но пусть тебе совестно будет: битый час из-за тебя люди без дела стоят.

– Да я... – снова начал Сайлау. А потом махнул рукой – не до него сейчас Ильясову, не до его пожара. У него у самого как на пожаре. – Ты мне только фронт работ обеспечить, а я мигом упущенное наверстаю. Договорились? – весело сказал он.

– Договорились, – хмуро ответил озабоченный прораб.

К счастью, Шайзы дома не было, когда Сайлау возвратился наконец с работы. Сыновья его занимались кто чем. Старшие учили уроки, двое прилипли к телевизору, а самый младший, Сарсен, сидел на полу и разбирал большой игрушечный кран из «Конструктора».

– Как дела, батыры? – спросил Сайлау.

– Хорошо, – ответил за всех Сарсен. – Мама в магазин пошла.

– Тшш, – зашикали на них те, что сидели у телевизора.

– Понятно! – Сайлау поднял сына и расцеловал его.

– Папа, твоё пальто мазутью воняет, – Сарсен сморщил нос и отодвинулся.

– Надо говорить: не «воняет», а «пахнет». И не «мазуть» это. «Мазуть» – такого слова вообще нет, есть – «мазут», а это не мазут, это солярка! – улыбнулся Сайлау. – Ну, раз тебе не нравится, тогда слезай.

– Нет, я не хочу, – заупрямился Сарсен.

– Папа, мама сказала, чтоб вы в магазин пришли. Ей тяжело будет сумки тащить, – сказал один из старших, оторвавшись от книжки.

– Да вы дадите или нет кино посмотреть? – возмутились мальчики, сидевшие у телевизора.

– Да ладно уж, экие важные персоны! – расхохотался Сайлау и, поставив Сарсена на землю, снова вышел на улицу.

Он любил своих детей. Он любил своих детей больше, чем жену свою – Шайзу, и временами с ужасом думал о том, что иногда просто ненавидит ее. Вот сейчас, например. Ведь непременно быть перед новогодним праздником большому скандалу из-за этого проклятого полушубка. Или еще: наработается он за день до гуда в спине, но только ляжет после ужина на диван, книжку какую почитать, как Шайза уже заводится: «Эй, мудрец, ваше сиятельство! Я тебе что, раба, целыми днями по дому волохат? Ну что, что ты на меня так уставился? Поглядите, какой ученый нашелся! Может, я тебе помешала, господин ученый? Чтоб железяки таскать, учиться не обязательно. Раньше надо было об учебе думать, а теперь встал бы лучше да двор подмел».

И столько злобы было в ее визгливом голосе, что Сайлау, спрятав книгу под подушку, вставал и шел – двор подметать, за ворота, на другой край города, к черту на кулички! Лишь бы не слышать этих унижительных базарных криков, лишь бы не спорить.

Потому что за двадцать лет совместной жизни он одно усвоил четко, окончательно и бесповоротно: ни переубедить, ни перекричать Шайзу невозможно. Всякие объяснения, споры и ругань с ней бесполезны.

И как-то раз решил – хватит! Он больше не спорил, не ругался до хрипоты, не оставался, назло ей, после работы, чтобы распить с друзьями бутылку-другую. Он молчал и делал все, как прикажет Шайза. Скажет встать – встанет, скажет лечь – ложится, прикажет укусить кого-нибудь – наверное, и укусит.

Ради детей, детей! Он стал жить ради детей...

Дети... Шестеро ребят... Разве виноваты они, что так все получилось, что два некогда родных человека уже никогда больше не поймут друг друга и что спят они в одной постели, но души их оказались на разных планетах? Разве дети должны расплачиваться за это?

Иногда, закрыв глаза, он с ужасом думал: а вдруг станет так, что будет старость и он окажется лишним... Ненужным ни одному из этих шестерых... Он даже слышал, как высокомерно цедят они ему сквозь зубы: «Надоел, старик», «Отстань, старик», «Не ной, старик», «Уйди, старик». И увидел: сухонький, немощный, сгорбился он в уголке, ожидая миску с едой, а злобный взгляд зеленоватых выпуклых глаз одряхлевшей Шайзы заставляет его еще больше корчиться от унижения.

Тыфу!.. Он ежился и как остатки дурного сна стряхивал с себя мерзкое наваяние. И тут же другое вспоминалось ему...

...По пояс в зеленой траве идет он за лошадьми, и рыжий жеребец уже собирает свой косяк на вершине горы, и золотом отликает в лунном свете его жаркая грива. Отец тогда прибаливал, и Сайлау не пошел осенью в школу. А отец говорил: «Учись, учись, сынок, пока я жив, я уж тут сам как-нибудь...» – «Вы никогда не умрете, отец, – отвечал ему Сайлау. – И учиться ведь никогда не поздно, да?» – «Как знать, как знать, сынок?» – отец кашлял и поворачивал лицо к чистому холодному небу.

И он седлал рыжего, и надевал уздечку, и сердце его бешено колотилось, дрожали руки. И рыжий мчится по степи, летит, летит под бледным лунным светом, и бесконечная добрая степь баюкает маленького всадника. Летит он, летит, напевая радостную гортанную песню!

Видела бы ты его тогда, Шайза!.. Посмотрела бы на него, посмотрела... Но двадцать лет его жизни до тебя – мрак, серая, неинтересная пустота. Сколько раз он пытался рассеять этот мрак, но тщетно: улыбался, шутил, бормотал, а потом вот и замолк, навечно ушел в себя. Да и нужен ли Шайзе этот его мир? Разве не права она, когда считает, что были бы руки-ноги целы, был бы достаток в доме, а бесплодные мечтания – они ни к чему простым людям? И руки-ноги целы, и достаток есть, но разве благополучие и счастье – это одно и то же?

Шайза немного поворчала, недовольная его задержкой, но вскоре сменила гнев на милость: поход в магазин удался, все необходимое было куплено, и они мирно возвращались домой.

– Ты лицо себе ожег что ли? – присмотрелась к нему Шайза.

– Угу. Да. Пожар был...

– Какой пожар? – любопытствуя, ужаснулась Шайза.

– Вагон на станции горел. Пришлось тушить. На работе только и заметил, что обжегся. Врач руку перевязал.

– Хорошо, хоть сам цел остался. Вечно тебя туда несет, куда других и на аркане не затащишь, – облегченно сказала она. И вдруг заторопилась: – Пошли, пошли быстрее. Дети еще не накормлены. Ох уж эти очереди!..

– Устал я, – сказал Сайлау. – Видишь, ноги еле волоку.

Он взял сумку с покупками в другую руку.

– Вижу, конечно же вижу... – В голосе Шайзы послышалась виноватая нотка.

– И морозы, как назло, стоят лютые. Дом-то сдадите к Новому году?

– Постараемся, – коротко ответил Сайлау. – Сигнали там... со всего треста. Должны вроде сдать.

– Ух, многие, значит, Новый год на новом месте будут встречать? Вам премию, наверное, дадут.

– Наверное, и дадут...

– Отложить нужно будет сразу. – Шайза окончательно пришла в хорошее настроение. – Мне обещали гарнитур югославский. К лету ведь, наверное, и мы переезжать будем?.. А кстати, – вдруг спохватилась она, – ты зачем в бушлате ходишь, как оборванец. Купили тебе шубу, так и носи ее. Что мы, нищие, что ли?

Внутри у Сайлау что-то дрогнуло. «Ну, начинается, – подумал он. – Помоги, Аллах!»

– Сгорела у меня шуба, – сказал он.

Шайза вытаращилась на него.

– Что? – не поняла она.

– Сгорела шуба. Пожар тушил – сгорела шуба, – пояснил Сайлау.

– Чтоб ты сам вместе сгорел с этой шубой. Почему, говорю, ты не сгорел?! – голос Шайзы креп и обретал знакомую жестокость.

– Неудобно. Что ты кричишь – люди смотрят, – забормотал Сайлау.

Взбешенная женщина огляделась. На них и правда с любопытством поглядывали...

– Неудобно, говоришь? – тихо и зловеще сказала она. – Ну, пошли, пошли домой, я тебе покажу «не удобно».

«Опять при детях поскандалим, – обреченно подумал Сайлау. – Теперь и детям весь вечер покоя не будет. И дернул же меня черт бежать к этому проклятому вагону! Нужно было, по крайней мере, сначала шубу снять, а потом в огонь лезть. Герой, будь все неладно!»

И тут же вспомнил, как восхищенно глядела на него та красивая девушка... Какие голубые глаза у нее были. Смеющиеся. Голубые глаза и красная фуражка... И чистое летнее небо – голубое, глаза этой девушки – цветы чистой летней синевы...

Накричавшись до хрипоты, Шайза всплакнула о своей горькой доле с таким пентюхом и отправилась спать. Однако, перед тем как лечь, приказала:

– Завтра же пойдешь на станцию и потребуешь, чтоб тебе заплатили за шубу.

– Да, да, – сказал Сайлау.

Младший сын разметался во сне, сбил с себя одеяло. Что-то приснилось ему... бормочет.

Сайлау поправил одеяло, осторожно подул на горячий лоб мальчика – уж не заболел ли?

Но малыш вскоре успокоился, замокал во сне, и Сайлау залюбовался им.

«Нарисовать бы его сейчас, – вдруг подумал он. – И нарисовать бы ту девушку с голубыми глазами. Взять яркие краски Рубенса, которыми он писал счастливую, беззаботную юность... Но для этого нужно, чтобы сердце пело, душа ликовала... Иначе и кисть такую краску не найдет. Или нет – тут нужен упругий мазок Сезанна. Или Ван Гога. Или солнечного Гогена, да, Гогена...»

Гоген, Мане, Сезанн, – он живо вспомнил свой восторг, когда впервые увидел он на открытках репродукции с картин французских художников. Было это уже у тетушки Нуржамал. У нее до сих пор, наверное, хранятся две большие коробки с его картинами, рисунками. Он ведь живописью увлекался, в те далекие школьные годы, когда жил у тетушки Нуржамал, и даже всерьез собирался тогда стать художником. Эх, мечты, мечты юности, остались вы где-то там, далеко, в потаенном уголке его сорокалетней жизни, куда ему и самому теперь уже доступа нет. В бурю вместе с табуном заблудился в степи отец, замерз. Весной умерла мать. Тетушка Нуржамал, сестра отца, забрала племянника к себе в город. Потерявшая мужа на войне, она и сама жила не ахти как, но бросить сироту на произвол судьбы она бы ни за что себе не позволила.

Он не мог проститься с аулом, не повидав напоследок своего старого друга. Рыжий жеребец сначала не узнал его, испуганно отпрянул, удивленно кося глазом на мальчика. «Рыжий, милый рыжий», – бормотал Сайлау. Рыжий прислушался

и, осторожно ступая, медленно двинулся к Сайлау, потерся мордой о его плечо. Мальчик обнял жеребца и горько-горько заплакал...

– Папа, дай попить.

– Спи, маленький, спи...

– Я пить хочу.

Сайлау напоил Сарсена, и тот снова заснул.

Все это время они работали в две смены, и вот наконец оба дома были приняты комиссией. Правда, не с отличной оценкой, сказались-таки следы спешки, но рабочие были довольны, да и начальство с облегчением вздохнуло: Бог с ней, с оценкой, когда объект сдан, и сдан практически вовремя.

Сайлау немного задержался – выдавали зарплату. Но спешить ему никуда не хотелось – до сих пор стоял в ушах визгливый голос жены: «Если и сегодня без шубы придешь, я тебе дверь не открою!»

Поежившись, он отправился на вокзал, но, не входя в станционное здание, прислонился к стене и выкурил одну за одной две сигаретки. Ему стыдно было говорить о своем деле с той голубоглазой, и он решил найти второго железнодорожника. Каркен Есенович его, что ли, звали?..

Стыдно-то стыдно, но что делать? Другого выхода нет. Заглянув в первую попавшуюся дверь, он, к своей великой радости, сразу же наткнулся на Каркена Есеновича. Тот сидел в кабинете один.

– А-а, герой! Проходи! – он сразу же узнал Сайлау.

– Здравствуйте, аксакал, – промямлил тот. – Я...

– Ты, – перебил его железнодорожник. – Ты за шубой пришел?

– Нет, то есть да, – поправился Сайлау.

Каркен Есенович расхохотался.

– Не выгнала тебя жена из дому? Грозилась ведь, что выгонит.

– А вы откуда знаете? – удивился Сайлау.

– Я, брат, все знаю, – снова засмеялся его собеседник. – Была она тут у нас.

Такого, я тебе скажу, шороху на нас навела: как только стекла от ее крика не полопались. Заявление писала.

– Успела, значит, – только и сказал Сайлау.

– Успела. Бой у тебя баба. А ты что, вроде недоволен?

Сайлау пожал плечами.

– Не знаю. Совестно как-то.

– Хей, да ты что? Молодец твоя жена! Это если каждый день по шубе на улицу выкидывать, никаких денег не хватит.

– Я про другое, – сказал Сайлау.

– Да что ты за человек, понимаешь? – Каркен Есенович даже огорчился. –

Правильно твоя жена сделала.

Заявление мы с Еленой, как свидетели и как дежурные по вокзалу, ей заверили. Но вот начальник станции уперся, и ни в какую. Ничего не знаю, говорит, пускай в суд обращаются, если хотят.

– Ну и правильно!

– Да что же правильно-то? – кипятился железнодорожник. – Совершенно это неправильно. Ты что, миллионер, деньгами разбрасываться? Ты где работаешь?

– В стройтресте.

– Инженером работаешь? Главным инженером? А может, начальником?!

– Я – тракторист. Я на бульдозере работаю, – спокойно и с достоинством отвел Сайлау, почувствовав в голосе дежурного неприкрытую насмешку.

– Вот то-то и оно. Так что дам я тебе добрый совет. – Он поманил Сайлау пальцем и сказал вполголоса. – Подавай в суд на нашу станцию и считай, через месяц получишь свои денежки.

– Почему? – удивился Сайлау.

– Тьфу ты, черт! – Каркен Есенович даже сплюнул. И тут же, как бы спохватившись, перешел на чуть ли не официальный тон: – Можешь идти. Я лучше с твоей женой поговорю. Она женщина деловая.

«Чего это «можешь идти»? Можно подумать, что он меня вызывал. Тоже начальник нашелся на мою голову», – обиделся Сайлау. Но у двери он обернулся.

– А девушка эта ваша, Елена, она знает, что моя жена приходила?

– Хей, я ж тебе только что сказал. Ты что, глухой? – повысил голос Каркен Есенович.

Сайлау тоже не сдержался.

– Хей, – передразнил он железнодорожника. – Будь здоров!

И громко хлопнул дверью.

Выйдя из здания станции, он опять присоединился к кучке курящих мужчин и вдруг, решившись, зашел в привокзальный ресторанчик, где сразу же почувствовал себя тепло и уютно.

Он подумал, что зря, пожалуй, «постился» все эти годы, ни к чему хорошему это не привело, а он много потерял, живя, можно сказать, в затворничестве и постоянно выслушивая крики и угрозы жены.

– Бутылку водки и чего-нибудь закусить, – сказал он подошедшей официантке.

Девушка посмотрела на него удивленно. Мужчина вроде бы не старый, приятный на вид. И на алкоголика не похож, хоть и сидит в замасленной телогрейке.

– В верхней одежде не обслуживаем, – сказала она.

– Думаете, если у Сайлау шуба пропала, то он и бушлата теперь не снимет, да? – улыбнулся он.

Но официантка не поняла его шутливых слов и, презрительно скривив губы, ушла на кухню. Сайлау сдал фуфайку в гардероб, пригладил вихры перед большим зеркалом... Ему еще никогда в жизни не хотелось так выпить, как сейчас.

– Выбрали? – спросила девушка, снова приближаясь к нему.

– Бутылку водки и что-нибудь закусить. Разве мы не так договорились?

– Насчет бутылки мы не договаривались. У нас водки разрешается отпускать на человека всего по сто граммов.

– А если я коньяку бутылку возьму.

– Берите. Это можно, – не улыбнулась девушка.

...Маленьким мальчиком он выходил во двор и ждал отца. И лишь покажется вдали одинокий всадник, как он уже бежит ему навстречу. Отец на ходу подхватывал его и сажал в седло. Целовал в лоб и спрашивал:

– Ну что, мой ягненок, соскучился?

Уткнувшись носом в отцовский дождевик, он жадно вдыхал едкие запахи – махорки, кошмы, пота, степи – и еще крепче обнимал отца. Нежные детские руки

гладили рыжую гриву жеребца, он ускорял свой бег, но одновременно ступал мягко и плавно, как будто боясь растрясти радостно возбужденного мальчишку. Хоть ведро воды ставь на седло – ни капельки не прольется. Рыжий жеребец Сарытобел был последним отпрыском знаменитых чингизтауских иноходцев.

– Может, и сейчас есть где-нибудь в Чингизтау рыжий жеребенок, но он никогда не сможет стать таким, как Сарытобел. Куда ему до Сарытобела!..

Сайлау произнес эти слова вслух и поднял рюмку.

– Уей, да пусть во славу Аллаху ширится застолье! Он поднял голову и увидел, что перед ним стоит его закадычный друг, слесарь Жаркын.

– И множится выпитое! Ты один? Садись ко мне.

– Конечно ж, один, – заулыбался Жаркын. – Я с работы, пивка заглянул попить...

– Какое же пиво в такой мороз?

– Видишь ли, – серьезно сказал Жаркын, – алкоголь бывает дорогой, а бывает и дешевый. Так вот, мой карман дружит с тем, что подешевле. Такие мы, потомки Шаншара. А ты, я вижу, разбогател? Коньяк нынче пьешь? Молодец!

И, довольный своими словами, он похлопал Сайлау по плечу.

– Просил водки, не дают, – признался Сайлау. – Пришлось взять эту... – он указал на бутылку.

– Не «эту», а – «это». Это, брат, напиток настоящих художников, – поддел его Жаркын.

– Шаншар, друг, ты прямо моими словами говоришь. У тебя что, своих слов нету? – не уступил ему Сайлау.

– А это у меня такой прием, – не сдавался Жаркын. – Мой покойный дед всегда говорил: «ИХ надо бить их же словами».

– Ну, тогда это нужно называть не приемом, а техникой.

– Да хоть горшком назови, как говорится, только в печку не сажай! Эй, Сайлау, что с тобой такое? Я все шутил, что легче в космос слетать, чем из Сайлау слово вытянуть, а ты вон как разговорился?

– А я, друг, теперь всегда буду говорить. И пить я теперь снова буду. А ты знаешь, если я выпью, то всяких там шаншаров кидаю на землю без подсечки.

– Понял. Урок понял. Только уж, пожалуйста, ты меня больше Шаншаром не зови. У меня ведь имя есть, если ты не забыл.

– Извини, Жаркын. И давай выпьем... Хочешь выпить? ..

– Какой казах так угощает? Лучше застрели, чем так спрашивать! – вроде бы обиделся Жаркын.

– Ладно. Это твоя старая шутка. Надо тебе, дружище, подновить репертуар...

– Я подумаю, – засмеялся Жаркын.

– Подумай...

Принесли еду и пиво. Жаркын развеселился и, показав на бутылку с остатками коньяка на донышке, спросил:

– Будешь пить? Хочешь, еще возьму?

Порядком опьяневший Сайлау призадумался, а потом вылил оставшийся коньяк в рюмку Жаркына.

– Буду! – громко сказал он. – Хочу – и напьюсь. Попробуй не напои меня сегодня!

– Уей, да ты, оказывается, совсем осмелел, – сказал Жаркын. – А все говорят, что Шайза тебя под каблуком держит.

– Верно говоришь. Держит. А только сегодня ты о ней не вспоминай. И я твою Санию трогать не буду. Судя по тому, как ты тут поддаешь, у вас война идет полным ходом, и, как говорится, превосходящие силы на стороне противника.

Жаркын рассмеялся.

– Может, и так, – виновато сказал он.

– Я сразу понял. Тебя лицо выдает, – сказал Сайлау.

– Уей, я же тебе коньяк взял, что ты ко мне привязался! – хохотнул Жаркын.

– Так ведь еще не принесли, вот и привязался.

– Принесли, принесли, – сказала официантка и поставила на стол бутылку.

Сайлау оценивающе посмотрел на девушку и высказался ни к селу, ни к городу:

– Эти губы... Эти губы пусть не говорят «да» раньше времени. Нельзя давать волю губам. Губами вот это должно руководить, – и он постучал согнутым пальцем по лбу.

– Вы что это хулиганите? – вспыхнула девушка.

– Я? – удивился Сайлау. – Что вы, извините, если не так поняли. Я ведь хотел у вас попросить листок бумаги.

– Чего? Откуда у меня бумага. Да и для чего вам?

– Он благодарность написать хочет, – сказал Жаркын,

– Для благодарностей у нас «Жалобная книга» есть, – сказала девушка и вдруг улыбнулась. – Ладно, сейчас посмотрю.

– А-у меня знаешь что стряслось? – сказал Сайлау, когда официантка ушла. – Совсем моя баба ополоумела.

И рассказал Жаркыну всю историю с шубой.

– А что, – задумался Жаркын, внимательно выслушав его. – Правильно Шайза говорит. Надо, чтобы возместили. И железнодорожник то же самое сказал. Ты что, умнее всех, что ли?

«Родной, рыжий мой Сарытобел, где ты?» – Сайлау стал машинально проводить какие-то линии на листке бумаги, который все же принесла официантка. А Жаркын, увидев, что товарищ больше не слушает его, вдруг спросил:

– А ты почему тетушку совсем забыл? Нехорошо, обижается старушка...

Сайлау, вздрогнув, долго смотрел на Жаркына.

– Разве вы все еще рядом живете? – спросил он.

– На днях переезжаем – в центре квартиру дали.

– А-а, значит, в наш дом... В дом, который мы построили, – поздравляю. Ну, а тетушка, как там тетушка? – вдруг встрепенулся Сайлау. – Вот что, – он встал и покачнулся. – Пошли сейчас к тетушке?

– А расплачиваться не будем? – иронически спросил Жаркын.

– Будем, будем. Девушка!..

Официантка, прибирая со стола, вдруг заметила среди грязной посуды белый листок и замерла от удивления: мастерскими штрихами нарисован там был сказочный конь. Напряженный, как стрела, выпущенная из лука, летел он над горами, городами, степью...

– Вот чудак, – сказала девушка. – Он, оказывается, художник.

А Сайлау, выйдя на морозную улицу, вроде бы немного отрезвел.

– Не поеду я сегодня, – сказал он Жаркыну, который поддерживал его за локоть. – Поздно уже – меня семья, дети ждут...

– Уей, да ты пока до своего дома дойдешь, утро настанет, а у тетушки мы через десять минут будем, – возразил ему Жаркын.

– Ночь длинная, друг. Утро – не скоро. – Сайлау вырвал свою руку и, не прощаясь, исчез в темноте.

Жаркын обескураженно поскреб в затылке.

– Ну да, – усмехнулся он, – стыдно стало: полгода не был, тетушка скажет, а тут среди ночи пьяный ввалился? Правильно сообразил!..

Но он ошибся. Сайлау уже мало что соображал.

– Это что за красота такая? – неизвестно по какому поводу бормотал он, шагая к автобусной остановке. – Это что за глаза такие? В жизни и красота бывает, и обман, и ложь, и жестокость, и зло. Правильно, все бывает. Но, дорогие философы, есть чистота. И есть стыд, и есть совесть Уважаемые философы, умные, толковые люди, вы согласны со мной, что пока есть красота и доброта будем и мы? – Вы согласны, что жизнь – это красота и доброта. Вы не согласны, тогда как хотите!

– Ты деньги, деньги давай, – сказала ему женщина.

– Зачем деньги? – не понял Сайлау.

– Затем, что ты в автобусе. Давай оплачивай проезд.

– А красота где? Шуба где? Где Сарытобел мой? – строго спросил Сайлау.

– Тьфу, зальют глаза – ничего не соображают. Ну и мужики нынче пошли! – кондукторша, не желая связываться с пьяным, махнула на него рукой и ушла на переднюю площадку.

САРЫТОБЕЛ! РЫЖИЙ! ТЫ МЧИШЬСЯ, КАК ВЕТЕР, КАК СТРЕЛА, ВЫПУЩЕННАЯ ИЗ ЛУКА, НАД ГОРАМИ, ГОРОДАМИ, СТЕПЬЮ...

Открылась дверца, и Сайлау вылетел на улицу, зацепившись за что-то ногой... Очнулся он от холода. Осмотрелся, с трудом встал. Возвращаясь с работы в такую морозную ясную погоду, он обычно прищуривался, перемигивался, играл со звездами. Сегодня – все не так. У него разламывалась голова, его тошнило. Рыжий жеребец Сарытобел подошел к нему, посмотрел на него долгим печальным взглядом и прошел мимо. Сайлау хотел догнать его, опереться на его крепкую шею, но рука его встретилась с железной ручкой ворот. Калитка со скрипом отворилась, и он снова рухнул на землю.

– Рахмет, Сары-рыжий, – пролепетал он. – Вот мы и добрались до шалаша...

– Чтоб ты подох, пьяница! – возопила Шайза, обнаружив у порога бездыханного мужа.

Но он не слышал ее слов. Он не почувствовал, как Шайза перетащила его в дом, как, обшарив карманы, забрала остальную получку – двести с лишним рублей. Ему снилась шуба. Черная и страшная, как грозовое облако, она окутала его, душила – не продохнуть. Он мычал и плакал во сне...

«...Таким образом, мой муж фактически совершил героический поступок, а вместо благодарности столкнулся с черствостью и бюрократическим отношением по вышеуказанному вопросу», – бойко сочиняла Шайза.

– Послушай, брось ты это дело. И так уже над нами весь город смеется, – смиренно сказал ей Сайлау.

– Ты ешь и молчи, пьяница, – кратко ответила Шайза. – Из-за тебя, тюхи, страдаю, и когда только ты человеком станешь!

К весне она опять обозлилась – теперь уже не на одного Сайлау, а на весь белый свет. Да и в самом деле – бумаги она исписала гору, куда только не писала, а толку не было: желанная шуба либо деньги за нее так и не появились. Писание писем стало заменять ей все: и отдых у телевизора, и возню с ребятишками. Она и к домашним-то своим обязанностям стала относиться довольно небрежно.

– Почисти картошки, а то мне еще много писать, – говорила она, не поднимая головы от бумаги.

...Сайлау с утра перемыл посуду и решил наконец навестить тетушку Нуржамал, благо день был субботный и никаких других дел у него не было.

Выходя из автобуса, он нос к носу столкнулся с Еленой и густо покраснел. Ему казалось, что она непременно начнет посмеиваться над ним, над настырностью его жены, но девушка вежливо и серьезно поздоровалась, и Сайлау долго не мог найти ответных слов. Он, не отрываясь, смотрел в ее голубые глаза.

– Здравствуйте, – наконец сказал он.

– Здравствуйте тогда еще раз, – улыбнулась девушка и подтолкнула рядом с ней стоящего парня. – Это тот герой, помнишь, я тебе рассказывала – спас лошадей на пожаре...

– А-а-а, помню!.. – Спутник Елены, высокий, спортивный парень, вежливо поклонился Сайлау. И, казалось, совсем не обиделся, что тот, не отрываясь, смотрит на девушку. Или только показалось, что не обиделся?..

«Нельзя же быть такой красивой, – думал Сайлау. – Это ж гибель – быть такой красивой. И это – не для меня. Я на красоту смотрю только с радостью. И преклоняюсь не перед тобой, а перед твоей красотой, голубоглазая красавица. Мне это не страшно. Я говорю о тех, кто хочет пленить твою красоту. Я говорю о твоём парне...»

– Рубенс с Изабеллой Брандт, знаете такой портрет? – неожиданно спросил он.

– Нет, – в один голос ответили влюбленные.

– Найдите и обязательно посмотрите. Вылитые вы, – строго сказал Сайлау, вдруг почувствовав, что он гораздо старше их и его жизнь не имеет к ним никакого отношения...

– Ладно. Обязательно посмотрим. Спасибо, – сказали девушка с парнем и согласно шагнули в подошедший автобус.

– Не забудьте фамилию – Рубенс! – крикнул им вслед Сайлау.

Тетушка сильно обрадовалась.

– Это ты? Все у вас живы-здоровы? Младший как? – тут же затараторила она, вытирая набежавшие слезы уголком передника. – Садись, я чай поставлю, А что ж сыновей не привел?

– С Шайзой они. В кино пошли, – неизвестно для чего соврал Сайлау.

– Да мне, по совести сказать, никого, кроме младшенького, Сарсена, любимчика моего, и не надо. Остальные в Шайзу, злюку, пошли, – вроде бы шутливо сказала она, но за словами этими стояла давняя распря с властолюбивой, все желающей повернуть по-своему невесткой.

Впрочем, она тут же и смягчилась:

– Ладно уж, пускай и она когда-нибудь зайдет, а то совсем меня забыли – чаю выпить не с кем...

– Нуржеке моя! – Сайлау крепко обнял старую свою тетку.

– Да пусти ты! Что, совсем рассыпать хочешь старые кости? – шутя отбивалась она.

– Тетушка, – спросил Сайлау, когда радость их встречи поутихла. – Ты не помнишь, где мои рисунки?

– На чердаке. Где же еще? Там, наверное, и лежат...

– Ты пока чай готовишь, я туда слажу, ладно?.. Кое-как он разыскал среди разного хлама две свои коробки.

Перед ним лежали рисунки тех, давних лет. И что это? Из чьей это жизни? Вот отец идет по пояс в траве, Сарытобел, собрав табун, уходит в горы, и горы Чингиз наплывают, как будто бы хотят придавить его... Шайза, кормящая грудью своего первенца, молодая, на лице ни морщинки. .. Чабаны, аульные старики... Горные реки, ущелья...

Сайлау смотрел на свои рисунки с удивлением и отчуждением.

И одновременно его охватывала страшная усталость.

«Нет, так жить, как я живу, больше нельзя. Что-то мне нужно менять в своей жизни», – подумал он.

– Ты что, заснул там, что ли, негодник? – услышал он снизу голос тетушки.

– Иду, иду... – Он еще раз глянул на рисунки и распахнул их обратно по коробкам.

– Тетушка, ты ведь вроде хотела квартиру просить, а? – спросил он, когда они уселись за стол.

– Да я и просила. А они мне говорят, что я уже не отношусь к семьям погибших на войне.

– Почему?

– Замуж, говорят, ты еще раз выходила.

– Что? – Сайлау насупил густые брови. – Разве было такое?

– Тайт, да о чем ты говоришь! – Нуржамал даже всплеснула руками. – Я б им такое замужество показала, да жаль – в обморок грохнулась. Я б им все сказала: и что никто из них ногтя моего Бекторе не стоит, и что никто, кроме Аллаха, не видел, как верила и как ждала я его...

Старуха заплакала. – Никогда в жизни меня так не обижали. И кому мне пожаловаться? Кто меня поймет? Кому я теперь нужна на старости лет?

«Да! Мерзко поступили со старой женщиной. А ведь ее очень трудно вывести из себя», – подумал Сайлау. И добавил вслух:

– Не плачьте, тетя Нуржамал. Куда они денутся, дадут вам квартиру.

– Ты меня не успокаивай. Я знаю, что дадут. По-моему, сам начальник тоже чуть в обморок не упал, когда увидел, что я шмякнулась.

– Да?

– Да, а как же? Вдруг бы умерла старуха прямо у него в кабинете. Очнулась, врач мне какое-то лекарство сует. Я его руку оттолкнула и ушла от них.

– Надо было еще раз попросить...

– Наплевать мне теперь на их квартиру, когда оскорбили меня, моего Бекторе оскорбили. Потом ко мне целая комиссия приходила, так я их и в дом не пустила.

Сайлау усмехнулся, с радостью обнаружив знакомые жизнелюбивые нотки в голосе тетушки. А разговор между тем перешел на его дела.

– Ты, говорят, снова разговорчивым стал? – Тетушка испытующе глянула на него.

– Это что вы имеете в виду? – насторожился Сайлау.

– Сам догадайся. Говорят, попивать начал?

– Да нельзя сказать, чтобы очень, – смешался Сайлау. И вдруг у него вырвалось: – Я рисовать хочу!

– Эх, Сайлау, Сайлау, – тетушка покачала головой. – Помнишь, я говорила тебе учись, черт с ними, с деньгами, как-нибудь прокормимся. Так нет – заладил ты тогда, что стыдно-де тебе у тетки на шее сидеть. А сам потом на этой курносой женился. Вот теперь и крути баранку, чего уж там!..

– На родину меня тянет, в горы, – сказал Сайлау. – Скучаю я. Может, соберемся с вами в этом году, съездим?

– Ай, ты мне уж который год обещаешь! А мне последнее время часто наши снятся – брат с невесткой, Чингизтау вижу. Тянет к себе родная-то земля и тебя, и меня. Ты это понимаешь?

– Понимаю, – опустил голову Сайлау и вдруг тихо спросил: – А выпить у вас ничего нету?

– Да, видать, правду про тебя люди говорят, – после некоторой паузы сказала Нуржамал. – Хотя у тетки-то можно, не под забором же.

Она поставила на стол бутылку.

– Два года назад для тебя брала, а ты не пришел. Два года в подполье ее держала. Как думаешь, не испортилась?

– Наоборот, крепче стала! – Сайлау налил себе полную пиалу. – Айналайын, Нуржеке!..

– Ладно уж, говорю тебе – у тетки можно, под забором нельзя. Пей да закусывай, а то вон как похудел, одни скулы торчат! Или не кормит тебя твоя курносая?

– Работа, Нуржеке, работа. Работаю много, – приврал ей Сайлау, чтобы как-то ее успокоить.

– И еще – весь город шумит, будто бы она за какой-то шубой гоняется, жалобы пишет!

– Да понимаешь, Нуржеке, шуба у меня сгорела на пожаре, а она просит, чтоб деньгами заплатили или новую дали.

– Ну и что?

– А ей отказывают, говорят, оснований нет.

– Тьфу! – возмутилась Нуржамал. – Ты скажи этой жабе, чтоб она не позорила наш род сквальжничеством своим. Разве можно из-за какого-то несчастного полушубка так позориться! А впрочем, разве ты сможешь ей что-нибудь сказать? Это ты здесь такой храбрый. Скажи ей, чтоб зашла ко мне – я с ней поговорить хочу. И скажи, что если сама ко мне не придет, я ее все равно найду и отчехощу. Надо же – и мертвых, и живых позорит.

– Да нет, какой уж тут особенный-то позор, – Сайлау попытался заступиться за Шайзу.

– А такой позор, что не водилось в нашем роду такого, чтобы кто-то добрый поступок сделал, а потом за него плату просил.

– Какая же это плата? Это ведь моя была шуба, и она сгорела, – начал было снова объяснять Сайлау.

– Да сгорела, и черт с ней, новую купи! Но не ходи по кабинетам и Шайзу не пускай – дороже это тебе обойдет-ся, точно я тебе говорю, послушай старого человека...

Сайлау в задумчивости потянулся к бутылке, но Нуржамал отставила ее в сторону.

– И пить кончай. Я ведь все твои похождения знаю!

Разве может джигит так распускаться, разве можно счастье на дне стакана искать? И разве ты не джигит?

– Джигит, джигит! – усмехнулся Сайлау, но видно было, что рассуждения Нуржамал сразили его,

Я познакомился с Сайлау Елеусизовым, сорока двух лет, бульдозеристом из стройтреста № 2, этой осенью. Он принес мне свои рисунки, и я, поколебавшись мгновение, честно сказал ему, что вряд ли из него получится профессиональный художник, что его поезд, как говорится, ушел. Но мои слова ничуть не обескуражили Сайлау.

– Спасибо, – просто сказал он. – Ты понял меня, и этого мне вполне достаточно. Я знаю, что не стану профессиональным художником. Поздно. Да к тому же люблю свою нынешнюю работу. Хочешь верь, хочешь не верь, а бульдозер для меня почти как живой. Ну почти как... – он задумался. – Ну, почти как Сарытобел, – тихо добавил он. – Профессиональным художником я не стану, но никто не может отнять у человека мечту. Есть мечта, которая будит душу, не дает ей уснуть, пускай даже никогда и не сбудется она. Ты меня понимаешь?

– Понимаю, – сказал я.

– Ну и хорошо, – сказал Сайлау. – Ты насчет полушубка спрашиваешь, как закончилась история. Так я тебе скажу, что закончилась эта история очень хорошо: Шайза все-таки выцыганила у железнодорожников деньги и купила на них мальчикам две шубки. Может, говорит, хоть ребята одежду с умом носить будут. И сама она здорово подобрела – меньше ругается, почти не пилит меня.

– Ну уж совсем прямо и не пилит? – усомнился я.

– Всякое бывает в семейной жизни, – дипломатично ответил Сайлау и засмеялся.

И казалось, что РЫЖИЙ ЖЕРЕБЕЦ САРЫТОБЕЛ ОГНЕННОЙ ТЕНЬЮ ПРОМЕЛЬКНУЛ ГДЕ-ТО ВДАЛИ И ГРОМКО, ПРИЗЫВНО ЗАРЖАЛ, РАДУЯСЬ СВОЕМУ ХОЗЯИНУ...

ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ ПОПЫТКИ

Айдара Курманова объяснить, почему он любил двух так рано ушедших из жизни писателей

Где тебе хорошо писалось, спросил меня писатель, живший в подмосковном поселке Абрамцево, когда я вновь появился у него;

в каюте;

где, переспросил он, удивившись;

В каюте, повторил я, у меня было такое чувство, будто я сижу на коне;

разве казахские классики писали, сидя на коне, усмехнулся он, и его полная нижняя губа чуть дрогнула;

акыны слагали свои песни, когда ехали по степи, ответил я; гм-м, он задумался и пожал плечами, да, были времена, вольно жили твои акыны, не то что нынешняя пишущая братия;

я тоже пожал плечами, что мне было ответить?

Поклонился могиле Константина Георгиевича, спросил он, почему-то не назвав фамилии Паустовского, или отдавая дань его памяти, или подчеркивая тем самым свою близость к нему;

да, я был в Тарусе, я люблю его книги с детства; он одобряюще хмыкнул и вдруг сказал: ты вроде бы неплохой парень;

и я почувствовал неловкость от этой его странной похвалы; я провел на Оке неделю, но не смог там написать ни строчки, пожаловался я;

он рассердился: зачем там писать? Там думать нужно, смотреть... Все собираюсь съездить в Тарусу, да, видно, не судьба, поздно...

и опять надолго замолчал, мне стало неловко; а он вдруг поднялся, я думал ты через месяц вернешься, а ты вон, оказывается, в какие странствия пустился;

он сказал это почти серьезно, даже не улыбнувшись своей незамысловатой шутке;

акыны, говоришь, на коне свои песни слагали, опять задумался он, и было непонятно, спрашивает он или повторяет услышанное;

одиночество, степь, кругом ни души! Хорошо, ей-богу, хорошо! В этом что-то есть, медленно сказал он. Одуловатое, неподвижное его лицо было печальным, но глаза оставались ясными, и мне казалось, что в нем кипит какая-то мысль, беспокойная и яростная;

и я вспомнил строки из его статьи:

«Если писателю не хватит мужества – он пропал. Он пропал, даже если у него есть талант. Он станет завистником, он начнет поносить своих собратьев. Холодея от злости, он будет думать о том, что его не упомянули там-то и там-то, что ему не дали премию... Но в какой-то миг, как божий дар, является вдохновение и работа начинает ладиться, и строки легко ложатся на белую бумагу, отсвечивая, таинством и правдой;»

вот, собираю все, что успел сделать, писатель указал на объемистую папку, лежащую на подоконнике, подчистить бы, подправить кое-что, да нет сил, ни охоты... так всю жизнь можно править и выправлять, не хочу, сдам в издательство, как есть, скоро должны приехать, забрать; именно эту книгу я и буду потом держать в руках, когда попаду в дом тбилисского старика Левана, который знал историю своего народа не хуже маститых академиков, а имена грузинских царей помнил лучше, чем имена собственных сыновей;

и я расскажу старику Левану все, что мне известно о замечательном писателе из подмосковного поселка Абрамцево, о наших коротких встречах, о том, как мчал меня в Москву на его похороны скорый рижский поезд и как стоял я у гроба в старом здании на улице Герцена, с трудом сдерживая слезы, а он был спокоен, величав, и невозможно было поверить в его смерть, расскажу о его великой прозе, о силе его литературного подвига, о его стремительной славе, и Леван будет слушать меня, не перебивая, ибо он, как и наши степные старики, умеет слушать молча и внимательно;

но горе, а не радость сведет меня, с Леваном... Мы познакомимся с ним в Мзиури, когда я, отчаянно спеша, прилечу в Тбилиси из Баку и все же опоздаю на похороны другого моего любимого писателя, а он, Леван, его земляк, будет стоять у его свежей могилы, все не решаясь уйти; ты был знаком с батано Нодаром, спросит меня Леван; нет, честно отвечу я. Виделись на разных собраниях, а вот поговорить не удалось, я много раз хотел подойти к нему, но не решался, я с нетерпением ждал каждую его новую книгу, я прочитал все, что он издал по-русски, не горюй, что опоздал, скажет мне Леван, ты сделал все, что мог, и спасибо тебе, что ты хотел успеть, хотел бросить горсть земли на могилу дорогого для нас человека, у нас говорят: боль в пальце чувствует и палец, и сердце, а боль в сердце только само сердце, ты почувствовал нашу боль и приехал к нам, так будь же моим гостем, идем ко мне в дом, помянем Нодара;

все это будет потом. А сейчас я понял, что настала пора прощаться с писателем из подмосковного поселка Абрамцево;

он вышел на крыльцо. Он, не мигая, смотрел на меня. Он тронул меня за плечо и сказал: я знаю, у тебя напечатали рассказ в «Нашем современнике», постараюсь прочитать его и напишу тебе все, что думаю. Не обижайся, если эта правда будет горькой. Прощай! Он повернулся, и ушел; но когда я вернулся в родной город после долгих странствий, то письма от него не было;

может, оно затерялось на почте, может, он не стал читать мой рассказ, может, рассказ ему не понравился, и он, не желая ранить мое самолюбие, промолчал – поздно гадать;

поздно и незачем. Я и так бесконечно благодарен ему. За то, что он тепло и сердечно разговаривал со мной, за все, что он успел написать, особенно за его статью, вернее, исповедь под названием «О мужестве писателя», которая помогла мне в тяжелую пору обрести себя.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЫЧАЙ

Памяти Нодара Думбадзе

Мы шли по той части города, где каждый дом напоминает старинную крепость с ее толстыми стенами из красного кирпича и узкими окнами-бойницами. Солнце, клонившееся к горизонту, лишило эти тесные улочки света, и на миг показалось, что вечер наступил уже давно, хотя тут же становилась явной ошибка: в небе еще не зажглись крупные южные звезды, а на земле было по-прежнему тепло, даже чуть-чуть душноватого.

Осень. Грузинская осень.

Средневековые кварталы, дожившие до наших дней... Я впервые оказался в Тбилиси, и лишь человек, любящий этот город, а не любить его нельзя, способен понять, чем стал для меня мой первый день здесь, хоть и был он омрачен печалью от смерти мастера, с которым мне так и не довелось повидаться на его родине.

Увидев людей, поднимающихся с разудалой хмельной песней из винного подвальчика, я подумал, что всегда мечтал побывать в таком вот месте, где весело, как бы играя, пьют мужчины, перемежающие длинные тосты многоголосым

пением. Особенно мне хотелось этого после фильма Иоселиани... как он назывался? «Листопад», да, так... Мне хотелось быть сегодня с земляками мастера, старыми грузинами, которые лучше молодых людей знают цену жизни. Я люблю стариков, мудрых стариков, толкующих о чем-то своем на базаре, с медлительной важностью отвечающих на приветствия и вопросы. Так было и в Ташкенте, и в Махачкале, и в Ашхабаде, и в Баку... Слушать стариков, пить с ними легкое виноградное вино... Мой друг Зураб, который нынче живет в Казахстане, горяч и много, с южным темпераментом жестикулируя, толковал мне о тбилисских подвальчиках, вспоминая свои студенческие годы. Мы были молоды тогда. Я недавно начал писать, а он, после окончания Тбилисского института физкультуры, приехал к нам в город тренировать баскетбольную команду, да так и остался на нашей земле. У меня в кармане был адрес его старшего брата, я намеревался зайти к нему, чтобы передать привет от Зураба, но на кладбище встретил старика Левана, который шел сейчас рядом со мной. И неожиданно согласился, когда мой новый знакомый позвал меня ночевать к себе, узнав, что я лишь сегодня после обеда прилетел из Баку и еще никого не знаю в этом городе.

Итак, мы стояли у подвальчика. Старик обернулся и, по-видимому, понял, о чем я думаю.

– Хочешь туда? – Он пожевал губами и нехотя направился к крутому спуску, ведущему к массивной, украшенной бронзовой чеканкой двери.

– Кушать хочешь? – спросил он, оглядывая полупустой зал. – Или тебе просто интересно?..

– И то, и другое, – ответил я.

Большой, грузный мужчина, торжественно подняв обе руки, поприветствовал старика и быстрыми шагами направился к нашему столику. Он обнял старика, и они о чем-то быстро и громко заговорили по-грузински. Выражение лица у мужчины менялось на глазах: он вдруг загрустил, потом, вмиг повеселев, закатился раскатистым смехом, после чего его щетинистая физиономия вновь приобрела унылый, скорбный вид. Когда он отошел от нас и скрылся на кухне, Леван задумчиво сказал:

– Он любил батона Нодара, и тот его любил. Мы все из одних мест. Он тоже гуриец, понял?

Я кивнул, и мы замолчали. Небольшой зал подвальчика стал тем временем постепенно наполняться.

Гуриец явился с огромным подносом, уставленным блюдами. Он ловко выгрузил содержимое подноса на стол, поставил туда же три бутылки гурджаани, немедленно открыв одну из них и разлив искрящееся вино по трем стаканам.

– Дорогой гость, – сказал он тихим, хриловатым голосом, – дорогой гость, ты приехал издалека, чтобы поклониться праху нашего дорогого Нодара. Спасибо тебе! Я знал этого достойнейшего человека много лет, с детства, и могу одно сказать – золотой человек от нас ушел, хороший, мудрый человек. Конечно, и враги у него были, у кого их нет? Без врагов тоже плохо, ибо враг заставляет тебя всегда быть в форме и наготове. Я правильно говорю, батона Леван?

Старик ничего не ответил, и хозяин продолжил, ответив самому себе.

– Правильно!.. Поэтому и предлагаю выпить за могучее дерево, которое не боится сильного ветра. Нодар и был тем самым могучим деревом. Так выпьем же, братья, за Нодара, пусть ему земля будет пухом!

Он с достоинством осушил свой стакан и, что-то тихо добавив старику по-грузински, отправился на кухню.

– Он извиняется, дела, – перевел старик. – Товар пошел принимать...

Громко шумела веселая троица за соседним столом. Гуляки никак не могли договориться, кто будет сегодня оплачивать стол, и каждый угрожающе тряс своим бумажником, как бы демонстрируя собутыльнику, что он готов на все. Победила молодость: стройный верткий парень встал и навалился на стойку, где пожилая женщина в черном платке мыла посуду.

– От меня! Я сегодня плачу, – сказал он. – Передай хозяину, что сегодня платит Гурам Ржанашвили, а от других денег не брать! И сдачи не надо, женщина! – возвысил он голос, чтоб все слышали его слова...

Потом побрел к выходу. Приятели, догнав его, начали ему что-то сердито выговаривать, но он взмахнул рукой, и, оказавшись за дверью, все трое вдруг дружно затагнули красивую протяжную песню.

– Пора, дорогой мой! Сестра заждалась, да к тому же дома куда лучше, чем здесь, – мягко, но настойчиво сказал старик.

Я с недоумением посмотрел на него и перевел взгляд на две непочатые бутылки вина. Бутылки запотели. На улице было душно, а в подвальчике – прохладно, сильно хотелось пить, но я послушно встал, не решившись возразить Левану.

На улице стемнело. Старик что-то недовольно бормотал по-грузински и, лишь когда мы прошли несколько кварталов, сердито объяснил мне:

– Деньгу делают! Помешались на этих вонючих бумажках! Дельцы! А потом – «сдачи не надо»! Вот и все их счастье!..

Сестра Левана действительно волновалась. Она подступила к брату с шумными расспросами. Леван что-то коротко объяснил ей, указывая на меня, и она успокоилась, замолчала, стараясь рассмотреть гостя в вечерней мгле.

– Здравствуйте, – сказал я, подходя к крыльцу.

– Бай!.. – неожиданно воскликнула она и, опираясь на палку, исчезла в комнатах.

– Сестру испугал, – весело рассмеялся Левон. – Садись, располагайся, пожалуйста, дорогой!..

Он щелкнул выключателем, и яркий свет фонаря, спрятанного в густых ветвях абрикосового дерева, озарил длинный стол и стулья, до этого прячущиеся в темноте.

– Я сейчас, – сказал он, направляясь в дом, который был расположен неподалеку от границ Старого города на самом берегу Куры... В воде все еще догорали, гасли последние искры заката...

Мне смертельно хотелось спать. Сказывалась бессонная ночь, проведенная в бакинском аэропорту, откуда я тщетно пытался улететь в Тбилиси, что удалось сделать лишь наутро. Но я все равно опоздал на похороны, хотя таксист, узнав, куда я еду, гнал по шоссе с такой бешеной скоростью, что перед глазами лишь мелькали придорожные столбы. Таксист этот наотрез отказался взять у меня деньги за проезд, как я его ни упрасивал. «Но это уже – так, к слову, это не имеет значения», – думал я в полудреме, боясь, что, если вытяну ноги, тут же засну и насмерть обижу старика, ибо этот вечер, тихий, умиротворяющий, казалось, самой природой был создан для душевных бесед и неторопливого застолья.

Но моя усталость незаметно прошла. Леван представил меня сестре. Тамара, так назвал он ее, все еще статная, высокая, подошла ко мне, стуча своей палкой, и что-то сказала.

– Извини, – вмешался Леван. – Она не говорит по-русски, но смысл ее слов такой... – Он задумался. – Будь, говорит, гостем, сынок, так сказала она... Ты приехал издалека, пусть твоя дорога станет твоей удачей...

Я понял, что он и сам не вполне владеет русским, что старая женщина вкладывает в свои слова более глубокий смысл, но постеснялся переспрашивать, и тонкая мудрость обращенной ко мне речи так и осталась неразгаданной. К тому же пора было садиться за стол, умело и щедро накрытый Тамарой. Леван протянул мне большой глиняный кувшин.

– Вот это настоящее вино, – похвастался он.

Сестра Левана усердно потчевала меня. На каком языке мы с ней говорили? Сначала на ломаном русском, потом она перешла на родной язык, а я – на свой, казахский. И вдруг показалось, что мы понимаем друг друга без слов, ибо язык сердца – самый понятный и самый простой для всех людей. Леван понимающе смотрел на нас и тихо улыбался.

Внезапно женщина заторопилась. Леван вслед за нею исчез в глубине дома. Я не понял, отчего такой переполох, но тоже засуетился – может, что-то случилось и нужна моя помощь? Когда я вошел на кухню, то увидел, что Леван стоит около плиты, громко хохоча, а Тамара сердито приговаривает:

– Вай-вай, Леван!

– Чуть хинкали не проворонили, – сказал Леван сквозь смех, – Сестра говорит, гость хороший, раз все-таки успели, – пояснил Леван.

Сестра, бормоча, доставала из кастрюли дымящиеся хинкали. Леван опять прыснул.

– Она говорит, что, видать, старость на подходе. Кое-что забывать стала. Да и немудрено, ей ведь уже девяносто один год...

– Сколько? Девяносто один? А сколько, простите, вам, батано Леван? – не удержался я от вопроса

– Мне-то? Мне пока еще только восемьдесят, – сказал Леван. Мы помогли хозяйке. Старушка была счастлива. Она улыбалась и все покачивала головой:

– Вай-вай, Леван, вай...

На дворе стояла ночь. Звезды мерцали над городом, светила луна, и в ее сиянии все вокруг казалось зыбким и нереальным.

Под абрикосовым деревом сидел человек. Увидев нас, он встал и низко поклонился.

– Гамарджоба, калбатоне Тамара! Гамарджоба, батано Леван!

– Добрый вечер, Вахтанг! Присаживайся, хорошо, что пришел. – Как всегда, как всегда, – тихо улыбнулся новый гость, и сумасшедшие его глаза холодно и отстраненно блеснули, когда он посмотрел на меня. На вид ему было лет шестьдесят – сухопарый, жилистый, все еще крепкий мужчина.

– Не бойся, это наш друг. Он из Казахстана, – сказал Леван. Тот, кого называли Вахтангом, еще раз внимательно осмотрел меня, но холод и настороженность в его взгляде остались.

Мы молча ели хинкали. Я прислонился к стволу абрикосового дерева, все еще хранившему дневное тепло. Человек с сумасшедшими глазами налил себе из

кувшина и не торопясь выпил до дна. Рукавом старой, выцветшей ковбойки он вытер губы, небритые щеки, затем вдруг достал из-за пазухи маленькую свирель и заиграл.

Под печальную, бередящую душу мелодию мы и разговорились с Леваном, и, казалось, музыка была не фоном, а выражением всего того, о чем было рассказано мне в эту ночь. Женщина тоже слушала музыку и, по-видимому, плакала, полузакрыв лицо черной шалью.

Старик Леван многое рассказал мне и о своей жизни, и о судьбе этого таинственного полуночного музыканта. Их, включая Левана, было шестеро в семье, пятеро братьев и одна сестра. Все братья воевали. Двое погибли в гражданскую, двое остались под Берлином. С последней войны вернулся лишь он один, Леван. Муж калбатоне Тамары тоже не вернулся с войны, но еще с той, первой империалистической. Пропал без вести, не вернулся никогда. Детей у них не было, а замуж она не захотела больше выходить, потому что берегла память о том, кого так любила. Сначала жила одна, потом – вместе с Леваном, чьих детей помогала нянчить и выхаживать. Жена Левана была из хорошей семьи. Считалось, что она происходит из рода самого Георгия Саакадзе, великого Моурави. Леван любил ее, но она умерла в прошлом году после тяжелой болезни, и этот музыкант, безумный Вахтанг, ее родной брат. Да, безумный... Леван не оговорился. Ведь был Вахтанг удалым, бравым парнем. Он, единственный из всего квартала, вернулся домой с войны в чине майора, и грудь его сияла медалями, орденами. И какими медалями, какими орденами!.. Леван даже цокнул языком. Вахтанг любил прекрасную девушку, и она его любила. Дело уже шло к свадьбе, как вдруг между ними встал один парень из пригорода, который тоже был равнодушен к этой девушке. Однажды, когда Вахтанг ночью проводил ее до дому, его окружила толпа парней. Вахтанг, десантник, храбрец, которому смерть не раз заглядывала в глаза, не испугался, а лишь нежно попросил свою подругу отойти в сторону. Этих сукиных детей он здорово отделал, но и сам угодил в больницу – ведь они орудовали ножами, да и много их было. Они сломали ему ногу, какие-то нервы на шее повредили, так что он почти целый месяц провалялся без сознания. А когда пришел в себя, то первый его вопрос был о Марии, так звали девушку.

– И мы с женой Тамарой не знали, что ему ответить, потому что за весь этот месяц она ни разу не пришла в больницу, где все мы дежурили по очереди. Вахтанг все понял, замкнулся, он гордый был, отлеживался дома и все играл и играл на свирели свои печальные мелодии. И вот однажды сестра принесла мне письмо Марии, написанное на мое имя. Последнее письмо, потому что Мария, обманутая родителями, которые были против ее брака с Вахтангом, считала, что он скончался в больнице, и теперь сама собиралась уйти из жизни. Ведь они даже показали Марии его прощальную записку, которую он якобы передал для нее..

Леван до сих пор помнил ее лицо – лицо настоящей грузинской красавицы. Красавица она была действительно неопишная. И гордая, под стать Вахтангу. И любила его так же, как и он ее. Леван, получив письмо, тут же побежал к ней, но было поздно. Она наложила на себя руки, и мигом постаревшие ее родители, не ожидавшие таких жутких последствий своего обмана, лишь тихо плакали, не в силах вымолвить ни слова. А Вахтанг постепенно стал приходить в себя, дела его пошли на лад, казалось, он со временем начал забывать Марию, но вот какие-то люди сказали ему, что она не просто умерла, а повесилась, и разум его не вы-

держал. Он сошел с ума. Тронулся, как говорится, – добавил Леван. – Питается у нас, а живет у себя, один, в коммунальной квартире, тут рядом, недалеко...

– Совсем один? – спросил я.

– Один, – ответил Леван.

– Батоно, скажите, а где ваши дети? – осторожно поинтересовался я.

– Дети? Мои дети деньгу сшибают, мерзавцы! Кто в Сибири, кто на Урале.

Один только путевый в Тбилиси остался. Слесарем работает в депо. Мы ведь люди простые, мастеровые, я сам всю жизнь на железной дороге проработал.

Вахтанг вдруг перестал играть. Он быстро встал и, молча поклонившись, направился к выходу. Дойдя до середины двора, он обернулся и, подойдя ко мне вплотную, достал из кармана фотографию, что-то нацарапал на обороте и протянул ее мне.

– Возьми, не то он обидится, – тихо сказал Леван. – Это копия с портрета Саакадзе.

Я поблагодарил Вахтанга. Он блаженно улыбался, сумасшедшие глаза его сияли.

Долго не мог заснуть я в эту ночь. Безыскусные, но яркие рассказы Левана потрясли меня, и я в который раз подумал о том, насколько сложны и трагичны судьбы людские.

Московский поезд уходил рано, и, если бы не помощь Левана, я вряд ли достал билет – такая большая очередь столпилась у касс.

– Позавтракаем в буфете? – предложил я.

– До отхода еще два часа. Идем, пройдемся, – сказал он и заглянул мне в глаза:

– Может, еще погостишь у нас?

– Нет, спасибо. У меня в Москве дел полно. В издательстве нужно показаться.

Да и... – я замялся, – и деньги на исходе! – Хочешь в долг? – тут же предложил Леван.

– Не надо, зачем. Приеду в Москву, и у меня все будет в порядке. А нет, так я всегда заработаю... Носильщиком, например, устроюсь на вокзале временно...

– Зачем это тебе? Ты же образованный человек...

– Работая с людьми бок о бок, лучше узнаешь их, Леван. Я вот уже полгода езжу по стране, и что же, ты думаешь, только на писательские деньги живу? Нет... Я и матросом работал, и проводником, и грузчиком...

– Как Джек Лондон хочешь быть, а? – Старик хитро посмотрел на меня, довольный тем, что, как ему казалось, он выведал мой «секрет». – Молодец, сынок! Ну, вот мы и пришли, – неожиданно заключил он.

– Куда пришли? – спросил я. И увидел вывеску «Хашная».

– Хашную знаешь? – спросил Леван.

– Нет, только слышал. Да в книгах читал, – признался я.

– Тогда у тебя все впереди, – сказал Леван.

Несмотря на ранний час, в хашной было много народу, и дверь непрестанно хлопала, впуская все новых и новых посетителей. Сосредоточенные мужчины ели горячий густой суп и важно молчали, так что казалось, будто это не обыкновенная точка общепита, а место, где свершается особый ритуал.

– Вчера мы с тобой заснули поздно и сегодня с утра пораньше имеем право съесть свой хаш. Такой уж у нас национальный обычай. Ох, и любил же я хаш в молодости.

– Такой хороший обычай только у вас, батоно?

– Хаши утром кушать? Только у нас, – убежденно сказал Леван. – Только умный народ может придумать хаш, а наш народ – очень умный.

Мы выпили. Мне стало хорошо, по всем жилам разлилось тепло.

– Батоно Леван, может, еще графинчик возьмем?

– Нет, – отрицательно покачал головой Леван. – Ты же не алкоголик, и я не алкоголик, так что больше нам пить нельзя, если не хочешь опозорить мои седины. Лучше уж пошли на вокзал, нам пора...

Он похлопал меня по плечу.

Подошел официант. Я вынул деньги, но Леван с нескрываемым гневом посмотрел на меня.

– Немедленно убери это! – приказал он свистящим шепотом. Вручил официанту десятку и, сделав рукой царственный жест, лихо выпалил:

– Сдачи не надо, дорогой!

– Спасибо, – привычно пробурчал официант, которого, по моим наблюдениям, ничуть не удивил поступок старика.

Я внимательно посмотрел на Левана. Он неожиданно растерялся, даже покраснел, но тут же рассмеялся.

– Что поделаешь, а? Национальный обычай, да? – Он обнял меня, как бы извиняясь. – Гость уезжает, это горе, да? Тогда зачем сдача? Я правильно говорю?..

Мы шли к вокзалу. Оглянувшись, я невольно залюбовался панорамой города: площади, улицы, скверы, улочки, переулки, Мтацминда – Святая гора, святые древние камни, широкое, залитое солнечным светом пространство, где шумит, живет, дышит славный город Тифлис, Тбилиси!..

Я посмотрел на часы и вдруг увидел Вахтанга, который раскачиваясь шел по тротуару и обращался к прохожим с непонятной угрозой:

– Хабарда! **Хабарда!**

– Он ищет нас? – спросил я.

– Может быть, – сказал Леван.

Мы поравнялись с безумным. Сумасшедшие, светлые глаза Вахтанга глядели мимо нас.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Памяти Юрия Казакова

– Ну, и зачем ты, спрашивается, ездешь по стране? Денег, что ли, у тебя много?

– Значит, нужно, отец...

– Какой я тебе отец? – недовольно насупился он, – Меня Петром Петровичем зовут...

Свою фамилию он почему-то не назвал.

– Айдар Курманов, – представился я.

– Шляются, шляются по России. Уж больно много праздношатающихся развелось. Запрещать это надо...

– А вы сами-то почему «ездите»... – Мне понравилось это его словцо, уж больно сладко он его произносил.

– Болею я, мил-человек, – вздохнул Петр Петрович. – Ранен был на фронте, теперь сказывается. Лечиться еду в Москву...

– Вот и нашлась причина, верно? Но не вы же один воевали? Вся страна воевала... Значит, и «ездиют»... Лечиться, например. Кто побойчее – до Москвы добирается, кто поскромнее – тот и областной больнице рад. Верно, Петр Петрович?

Он промолчал, и я увидел, что разговор у нас опять не клеится. Я сел утром в Кургане. А мой сосед уже сутки ехал в этом купе, изнывая от одиночества, ибо зимний вагон был почти пуст. Увидев меня, он вначале обрадовался, но наша первая стычка произошла после мгновенного обмена репликами, и я тут же уткнулся в книгу Филоненко «Хлебопашец» о Терентии Мальцеве. Однако, когда настало время обедать, мы оба, почувствовав неловкость, вновь разговорились и стали угощать друг друга той нехитрой снедью, что прихватили с собой в дорогу. Во время обеда и состоялся тот самый диалог, с которым ты, читатель, уже познакомился в начале этой истории. А утром, стоило мне мало-мальски освоиться в купе – переодеться, вынуть из дорожной сумки книги и блокноты, как он тут же задал мне прицельный вопрос

– Ты казах?

– Да.

– А что в Кургане делаешь? Живешь, что ли? Казахстан – большая страна. Зачем тебе Россия, а?

Мне не понравился его тон, и, хотя не в наших обычаях пререкаться со старшими по возрасту, я не удержался:

– А вам зачем Казахстан?

– Да я же пошутил, это же шутка, ты что, шуток не понимаешь? – запротестовал он, явно растерявшись.

– Боюсь, что с шуткой вы не на короткой ноге, – пробормотал я, и на этом наша беседа закончилась.

Был Петр Петрович невысокого роста, крепкий, с большой головой, толстогубый; то и дело посверкивал маленькими припухлыми глазками. И не сердис на меня, читатель, но в профиль он напоминал какое-то животное, скорее всего – крота, хотя анфас был вполне нормальным человеком. Когда я снова взялся за книгу, он, поерзав, не выдержал и опять стал заводить разговоры

– В Курган по делу ездили? – отменно вежливо осведомился он.

– По делу. Хотел увидеться с Мальцевым...

– С «хлебопашцем», значит... – Он глазами указал на книгу. – С дважды Героем.

Вы сами-то агроном, что ли?

– Нет, немного пишу, – ответил я.

– Журналист, значит, – пробормотал он и, довольный тем, что «угадал» мою профессию, почему-то вновь перешел на «ты». – Ну и зачем тебе Мальцев? О нем же писано-переписано...

«Да бог с ним! Хочет, пускай «тыкает», – подумал я.

– Так. Хотелось потолковать с умным человеком, – сказал я.

– С умным, говоришь? – встрепенулся Петр Петрович, и по голосу его было непонятно – то ли он передразнивает меня, то ли действительно согласен с моей

оценкой Мальцева. – Знал я его... – задумчиво добавил он. – Я ведь тоже родом из Кургана. Ты вот на меня утром рассердился – зачем-де мне Казахстан, а ведь я туда на освоение целинных земель поехал. Руководящий состав требовался со стороны, вот меня и послали. А Терентия Семеновича я действительно знал... Беспокойный он мужик. Насчет его ума ничего сказать не могу, а что человек он шептун – это точно. Мудрецы, они, знаешь ли, молодой человек, обычно поспокойнее бывают. Мудрость – это спокойствие, так на востоке говорят.

– Я думаю, дорогой сосед, что у Мальцева – особая мудрость, если хотите – мудрость беспокойная, такая, которая ценится на вес золота, – вновь рассердился я, и Петр Петрович, почувствовав это, спокойно встал, одернул пижаму и вышел в коридор. Чувствовалось, что ни великий Мальцев, ни я не пришли к нему по душе.

Я собрал со стола мусор и вынес в тамбур. Петра Петровича в коридоре не было, и проводница спросила меня, не хочу ли я чаю. Поблагодарив, я отказался, но предположил, что, может быть, мой сосед захочет.

А сам остался курить в тамбуре. Лесная Русь была покрыта снегом, и в ее облике таилась вековая загадка. Любовно укутанная снежным покровом земля дремала, чтобы очнуться весной, расцвести летом и дать людям к осени богатый урожай. От сверкающей белизны, от мелькания за окнами вагона у меня заслезились глаза, но возвращаться в купе не хотелось. «Странный какой-то человек, – подумал я о соседе. – Настоящий крот. Цепкий, неуклюжий, грубый, но глаза не злые...» Я начал вспоминать его лицо. Глаза... Нет, глаза не злые...

Когда я вошел в купе, Петр Петрович пил чай.

– Присоединяйся, – коротко сказал он.

– Спасибо, не хочу...

– Не кобенься. Я уже заказал на твою долю... – Он пододвинул ко мне стакан.

Я поблагодарил его и стал размешивать ложечкой сахар.

– Ну и что, удалось тебе встретиться с Мальцевым? – вдруг спросил он, и я понял, что наш последний разговор чем-то задел его.

– К сожалению, нет... Мальцев лежит в больнице.

– Не иначе как в Москве. Он ведь депутат...

– Почему в Москве? Лежит в курганской областной больнице. К нему не пускают, да и не хотелось его беспокоить. Будет время, еще раз приеду. Хотя, конечно, с трудом в это верится, я так долго к нему собирался...

– Да-а, а я, если б не моя проклятая болезнь, сидел бы дома да беды не знал, – вздохнул Петр Петрович и, круто переменяв тему, вновь принялся бранить «праздношатающихся»: – Никуда б не ездил. А эти ездют и ездют. Работать некому, а эти все ездют. «За туманом и за запахом тайги». Знаю я этот запах! Не пойму! Распустили народ! Построже надо с народом, построже!..

Он сжал кулаки и потряс ими в воздухе. У Петра Петровича были внушительные кулаки, слегка обросшие рыжеватой шерстью. По всему чувствовалось, что дядька он основательный: глазки его еще больше сузились, лоб пошел гармошкой, ноздри вздулись. Крот! Вылитый крот! Но глаза не были злыми, клянусь! Но и добрыми не были... Осторожные такие, цепкие глаза, пристальный взгляд.

Он допил чай, крякнул от удовольствия, выпрямился и, откинувшись к стенке, уютно устроился, положив под спину подушку. За то время, что мы провели

вместе, он меня и этим поразил: способностью устраиваться уютно в любом положении. Я даже пытался подражать ему, но ни тогда, ни потом у меня из этого ничего не вышло.

– Я, допустим, не против того, что ездют. Но, спрашивается, где они деньги берут на это? Ты согласен со мной?

Я промолчал.

– Конечно, не согласен, – констатировал Петр Петрович, – Ты ведь тоже из тех кто... путешествует, – деликатно вывернулся он и снова пошел в наступление. – Я вот писателя Шукшина не люблю, но в одном он все-таки прав...

Вот тебе и раз! Шукшин его, оказывается, тоже не устраивает.

– Это за что же вы, интересно, не любите Шукшина? – перебил я его.

Он строго глянул на меня и неуклюже улыбнулся, обрадовавшись, что наконец-то задел меня за живое. На мой вопрос он не ответил, но тут же продолжил свои выстраданные рассуждения: Шукшин прав в том, что не любил праздных людей. Кстати, это он поднял вопрос о деньгах, это он спрашивал, откуда деньги и сколько времени длится отпуск у этих раскатывающих по стране бородачей. Незаурядным человеком был Шукшин, но я его не люблю, потому что он часто смеялся над своим народом. А этого делать нельзя. Это неэтично, и все суетился, суетился этот Шукшин, все нервничал, вот даже с вахтершами в больнице ругался, есть у него такой очерк, «Кляуза» называется. Да ты, наверное, слышал?

– Читал, – ответил я и тоже стал наступать на него. – Вы простите, Петр Петрович, но вот Мальцев для вас слишком беспокойный. Шукшин – нервный. Так кого же вы уважаете, кого любите?

Он, выпятив нижнюю губу, глубокомысленно сосредоточился.

– Могу ответить на твой вопрос, – наконец-то решил он, – Шолохова я люблю. Великий человек Шолохов! Величав, крепок, спокоен, мудр. Пастернака уважаю. Многие его стихи знаю. Когда к нам в Казахстан приезжал Михаил Александрович, я ему много стихов читал наизусть, и он поражался моей памяти.

– Кто приезжал? – я не поверил своим ушам.

– Шолохов, Михаил Александрович, – как ни в чем не бывало ответил Петр Петрович. И прищурился. – Ты, может быть, думаешь, что я заливаю? Нет, дружок. И про Михаила Александровича я правду говорю, и про стихи. У меня память и до сих пор – ого-го! Я по тексту один раз основательно, но молча глазами пройду, второй раз бегло глазами пройду, но уже вслух, а на третий раз я его уже назубок знаю! Вот так-то! Можешь, если хочешь, по книге меня проверить. Хотя, конечно, память у меня сейчас уже не та, – вдруг несколько свял он. – Были времена, когда я полуторачасовой доклад наизусть заучивал, так: мне все легко давалось. И народ, и начальство поражались. Наповал! А Есенина, например, я и до сих пор всего помню.

Устал я жить в родном краю,
В тоске по гречневым просторам,
Покинув хижину свою,
Уйду бродягою и вором,

– начал он, закрыв глаза.

И действительно, читал он великолепно. С выражением, без истерики. Как опытный чтец..

Утром, когда я проснулся, его уже не было в купе. Я вышел в коридор, но и там его не было. Я умылся, побрился, попросил проводницу заварить чай.

– Чай готов. Ваш сосед уже постарался, – отозвалась проводница.

– А он где? – спросил я.

– Откуда мне знать? По-моему, в ресторан пошел, – ответила скучающая проводница и отвернулась, глядя в окно.

Петр Петрович, возвратившись, сдержанно раскланялся и церемонно пожелал мне доброго утра. Я ответил ему тем же. Мы молча пили чай и глядели на быстро убегающие снежные холмы и поля.

– Не утомил я вас вчера своими стихами? – нерешительно спросил меня странный сосед.

– Почему «своими»? – Я был удивлен сменой его поведения, и мне захотелось сказать ему что-нибудь приятное, – А вы хорошо, ну просто здорово читаете, Петр Петрович! И потом – Есенин, Пастернак, Цветаева, какие имена!.. Я тоже очень люблю этих поэтов.

– Хорошо, говоришь? Это мы могём, – последнее слово Петр Петрович явно произнес искаженно, как бы подсмеиваясь над собой. Потом подумал и сказал: – Слушай, сосед! Айдар, а Айдар! Давай в картишки перекинемся, или да ну их эти карты, партию в шахматы сгоняем?

– Нет, не хочется что-то, Петр Петрович, – отозвался я. – Лучше малость почитаю.

Я лег на полку и отвернулся. В дорогу кроме «Хлебопашца» я взял еще одну книгу – повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича».

«Может быть, я жил не так, как нужно? – приходило ему вдруг в голову. – Но как же не так, когда я делал все, как следует?»

«Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «Суд идет!..» «Суд идет, идет суд, – повторил он себе. – Вот он, суд! Да я же не виноват! – вскрикнул он с злобой. – За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас».

Мои глаза слипались, и я вскоре заснул. Во сне я увидел своего соседа. «Не может быть, чтобы так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать, и умирать страдая?» – размышлял Иван Ильич голосом Петра Петровича, и мне стало жалко попутчика. Я думал во сне: «Не надо. Пускай он живет. Он хороший. Он знает наизусть много стихов. Я прощаю невежду и завистника. Он такой. Но ведь у него не злые глаза. Не злые, но и не добрые. У него осторожные. Всего лишь осторожные, цепкие глаза, и разве можно карать за это человека? Оставьте его в покое».

Когда я проснулся, уже наступил вечер. И на снежные поля спустились сумерки. Электричество еще не зажгли, и я не сразу разглядел в полутемном коридоре своего соседа, тихо стоявшего у окошка. Больше в коридоре никого не было.

Он обернулся и увидел меня. В этот момент дали освещение. Я заметил, что Петр Петрович чем-то явно озабочен; по крайней мере, не было в нем прежней бодрости, энергии, напора.

– Я ждал, – сказал он. – Хочу пригласить вас в ресторан... – И заторопился, объясняя: – Видите ли, сегодня у меня печальная дата, ровно год, как умерла моя жена...

Мы сидели с ним в вагоне-ресторане. И здесь народу было не густо. Лениво переговаривались официантки, сгрудившиеся за одним столиком, да двое мужчин, по виду – командировочных, ужинали в дальнем углу.

– Жена была единственным близким человеком для меня, хотя у меня уже и дети взрослые, и внуки есть. Жена! Святая она была для меня. С полуслова понимала и чуть ли не боготворила. И ни разу за всю нашу жизнь не вступила со мной в пререкания, никогда не пыталась чем-то обидеть, уколоть... – Он замолчал. Официантка принесла закуску, горячее – все сразу, вместе, и он обратился к ней: – Девушка, мы хотим посидеть, поговорить. Не торопи нас, пожалуйста...

– Котлеты позже? Хорошо, когда нужно будет – скажете, – любезно ответила официантка.

– Спасибо, доченька... Так вот, – он снова повернулся ко мне. – Она была послушной женою. Даже когда я бывал не прав, она не перечила мне. Так уж она была устроена. Она любила меня, и я ее любил.

Мы помянули ее. Петр Петрович налил мне полный граненый стакан и настоял, чтоб я выпил его залпом. Сам он поступил точно так же. Мы повторили, теперь уже за мой счет, и нам обоим вдруг стало легко друг с другом.

Не знаю, что он думал на этот раз обо мне, а я, глядя на него, вдруг осудил себя за то, что счел его завистником, невеждой, выскочкой. Нормальный человек со своими нормальными «загибами», все мы такие, один чуть лучше, другой чуть хуже – вот и вся разница...

– ...Она умерла год назад в такой же вот вечер. Темень была на улице, а я сидел один у ее изголовья. Она – мертвая, я – живой. Перед тем как окончательно уйти... туда, она вытянула руки, и я нежно гладил ее пальцы. Она уже не могла говорить, она только глазами, глазами... Она попыталась что-то показать мне, но не смогла. Глазами... Нет, не страх был в ее глазах, а смирение, печаль, слезы. Слезы капали, текли, медленно текли... Спокойно отходила она, и руки ее остались в моих руках. Не знаю, сколько я так просидел подле нее, но очнулся я от холода – будто лед меня сковал, и ее ладони, холодные, жесткие, вдруг явственно напомнили мне, какое горе обрушилось на меня, догнало на старости лет, но подняться, встать, позвонить детям, близким не было у меня сил. Мы провели эту последнюю ночь вместе. Я гладил ее ледяной лоб, мертвые волосы, которых даже не коснулась седина. Весь ее облик говорил о какой-то таинственной, щемящей несправедливости, и, не скрою, мне было страшно. Я включил во всех комнатах свет и заговорил с ней... Я говорил все, я говорил без утайки, я говорил правду. Я вспоминал всю свою жизнь, прожитую с нею, и благодарил ее, мою верную жену.

Сейчас мой сосед поражал меня уже не красноречием, а чем-то большим, – искренностью ли, душевным порывом, неподдельной человеческой печалью – мне трудно было точно это определить. И кротообразное лицо его стало одухотворенным и вдохновенным, когда он говорил о своей боли мне, случайному дорожному собеседнику, говорил, то печалась, а то вдруг как бы снова обретая на секунду некую несбыточную надежду.

Мы расплатились и отправились в свой вагон. По дороге я точнее сформулировал свои ощущения – он поразил меня своей откровенностью и тем бесстрашием, с каким исполнял обет, данный собственной совести, – стремиться в своей исповеди к полной правде. Правде – до единого слова и жеста. Правде – окончательной и бесповоротной...

Петр Петрович попросил меня не зажигать в купе свет, и мы оставили дверь открытой.

Он молча резал колбасу, наполнял стаканы. Я вспомнил, что у меня есть лимон, и Петр Петрович неожиданно обрадовался.

– Дай, дай его сюда, – зашепшил он, вдыхая запах лимона, отчего его лицо вмиг просветлело. – Дай, я знаю, как надо сделать, я умею...

И он, как заправский кулинар, нарезал лимон тонкими изящными ломтиками после чего предложил мне еще раз помянуть покойницу. Пальцы его, цепко державшие стакан, задрожали. Он быстро схватил ломтик лимона и сладко всосался в него. А вообще-то, он умел пить, делал это красиво, умело, с достоинством и своеобразной элегантностью. И он, что было поразительно, почти совершенно не пьянел от выпитого. Лишь сгорбился чуть-чуть, и голос у него стал более хриплым, отрывистым.

– ...Она лежала мертвая, а я все бормотал что-то... Душа ее была далеко от этого мира, но ведь тело-то было здесь, рядом, и этого, как мне казалось, было достаточно, чтобы я мог с ней разговаривать. Вот я и бормотал, не замечая, что это окоченевшее тело равнодушно к моим излияниям и поздним откровениям...

Я вдруг понял, что он переживает еще и оттого, что обладал в этой жизни лишь телом своей жены, а душа ее, высокая и непорочная, так и осталась для него тайной за семью печатями. Она была выше его, и он мучился оттого, что понял это слишком поздно, не оценив, не воздав ей должное при жизни. И мне опять стало жалко его. И прежняя ненависть снова шевельнулась во мне, ибо величие незнакомой мне женщины заключалось в том, что она всем пожертвовала ради него, ради этого непонятого, странного человека.

Моя догадка была верной. Петр Петрович говорил:

– Она была лучше меня. Понимаешь? Лучше и чище меня. Богаче. Я узнал это, лишь когда она умерла. И теперь я уже никогда не смогу доказать ей обратное. Вот что страшно! Она меня победила. И не оставила шанса оправдаться, нет, неверно, не оправдаться, а доказать, что я достоин ее, что я такой же, как она. Вот что страшно, земляк! Я говорил тебе, что она ни разу в жизни не послушалась меня, ведь мои слова были для нее законом. Но перед смертью, когда она протянула ко мне руки и слезы текли по ее лицу, она успела тихо сказать мне несколько слов. – Он держал стакан в ладонях и, казалось, грел его – Ты можешь курить, – вдруг сказал он.

– Не хочу, – ответил я.

– Она успела сказать несколько слов. Нет, я сначала расскажу тебе, в чем было дело. Сейчас я уже на пенсии, но много лет назад, в середине, можно сказать, моей карьеры, работал, как нынче выражаются, мэром города, то есть председателем горисполкома. Было мне тогда лет сорок, силенок хватало, и я крепко взялся за городское строительство, особенно центр мне хотелось отстроить по-человечески. Ведь тогда у нас в Казахстане, – я понял, что он нарочно подчеркнул это «у нас», – у нас в Казахстане почти все города были низкие, ну, я имею в виду – малоэтажные, и я решил поломать эту традицию. Так что буквально за три с небольшим года наш город преобразился. Осанку свою почувствовал наш город, похорошел, как невеста на смотринах. Я сумел собрать для работы хороших архитекторов. Сам Василий Тихонович Петраков у меня работал, сумел-таки я его к себе перетянуть, когда стал председателем, хотя и знал его давным-давно.

мы с ним вместе в Свердловском политехническом учились... И Петраков не один к нам приехал, а с целой группой своих коллег. Шестеро их было, пять парней и одна девушка, которая стала потом женой Тихоныча, как мы его звали в своем кругу. Ну, и принялись мы, значит, строить. Из Алма-Аты да и из самой Москвы приезжали на наши дела посмотреть. Хвалили нас, особенно Тихоныча, чуть было в центр его от нас не забрали, но тут наша дружба не подвела, и он показал себя настоящим товарищем – не пошел на повышение, а остался у нас. Мы, город, тоже не были перед ним в долгу, в конце пятилетки он получил орден, его выдвинули на премию. Казалось бы, все идет хорошо – ан нет. Наш первый секретарь области добился в Москве лимитов для строительства в нашем городе объектов соцкультбыта – Дворца культуры, кинотеатров, ресторана и так далее. Мы взялись за новое дело с азартом. За год перед этим сдали больницу – онкологический центр, обслуживающий не только нашу область, но и другие, прилегающие к ней. К нам и курганцы, и челябинцы приезжали... Хороший, на самом деле хороший мы построили центр. И вот я решил все эти новостройки связать воедино, в одном архитектурном ансамбле – я имею в виду и Дворец, и Дом пионеров, и кинотеатр. Так вышло, что ресторан по нашему плану располагался неподалеку от больницы, и мне казалось, план этот – безукоризнен, тем более что первый секретарь обкома поддержал меня. Лишь заставил переделать проект Дворца культуры. До сих пор у меня на памяти, как он мне тогда сказал: «Не забывайте, где мы живем, берите все лучшее из казахской национальной архитектуры, не нужно нам этих «усредненных» зданий, какие есть в любом городе...» Толковый мужик был наш Абрамов, первый секретарь. Окрыленный, приехал я домой, собрал у себя архитекторов, строителей, объяснил, как говорится, ситуацию, и тут, к моему удивлению, Тихоныч стал противиться моим решениям. И, на мой взгляд, из-за совершеннейшей мелочи. Ресторан, говорит, нужно строить в другом месте, большие и ресторанный шум – это несовместимо. Ну, я и так и сяк – о красоте ему, о будущем городе, о том, наконец, что этот вопрос уже согласован в верхах. А он ни в какую. Я тогда, признаюсь, голос на него повысил. Он, как ты сам понимаешь, – тоже, хоть человек он был мягкий, интеллигентный, не чета мне, я ведь иной раз могу и матерком пустить... Слово за слово, наговорили мы тогда друг другу с три короба, и он взял да и уехал в Алма-Ату, куда его давно приглашали. И следом за ним вся его «команда». Ну, а я тоже закусил удила, и ресторан мы поставили точно там, где планировали. И Дворец культуры, и кинотеатр – все закончили к концу пятилетки. Меня после этого повысили в должности, перевели в область. Тихоныч тоже в Алма-Ате не прогадал, стал одним из ведущих архитекторов республики, и вполне заслуженно – я же говорю, что он был очень талантливым человеком. Но я до сих пор считаю, что сгубила его эта мягкость да интеллигентность. Он всегда свою линию гнул, но молча гнул. А надо было кричать! Шуметь надо было!.. Он рано умер, ранний, как врачи говорят, инфаркт... Там, где нужно было кричать, он молчал, все в себе копил, все тягости, все свое раздражение. Хотя кто может знать, как лучше себя вести, как правильнее. Я не утомил тебя?

– Нет, интересно...

– Интересно ему, – вдруг озлобился Петр Петрович. – Я о горе и смерти рассказываю, а ему, видишь ли, ин-те-ресно... – Он задумался. – Ты не можешь заказать чаю? – попросил он меня.

Чай был кстати, и вскоре Петр Петрович продолжил свой рассказ:

– Жена знала о нашем конфликте с Петраковым, знала, что Тихонич уехал, обижаясь на меня. Но она по своему обыкновению смолчала. Я уже говорил тебе, что для нее все, буквально все, что я делаю, было правильным и единственно верным. И теперь я думаю – а что, если это мне всю жизнь только казалось? Ведь такова гримаса судьбы, что она попала именно в эту больницу. Сначала пролежала три месяца, потом еще три. Ей сделали одну операцию, потом другую. Помню когда я последний раз навещал ее в больнице перед выпиской, мы вышли на улицу. Был теплый летний вечер. Тихо было в больничном садике. И вдруг эту тишину разорвали грохочущие звуки ресторанного оркестра, и чей-то визгливый тенор истошно заголосил: «Не убивай, не убивай любовь свою...» Женщина в больничном халате, сидевшая рядом с нами на скамейке, вздохнула: «Ну, опять началась наша похоронная музыка...» А пожилой мужчина в пижаме почти что прорычал: «Я бы этого сукина сына задавил, который догадался построить ресторан напротив больницы...» «Ступай!» – торопливо сказала жена, очевидно опасаясь, что я еще и не того наслушаюсь от рассерженных людей. Я встал и поцеловал ее. Выходя на улицу, я увидел пожилого казаха, который молча с грустью глядел на роскошное здание ресторана, перед дверьми которого толпилась нарядная молодежь и из раскрытых окошек которого доносились звуки музыки, шум, смех... Аксакал остановил меня. Он зло ткнул палкой, на которую опирался, в сторону ресторана и сказал: «Жаман, плохо... Там – гуляние, тут – смерть. Шайтан! Жестокый мир...» И теперь я часто вижу во сне этого старика, слышу ресторанный шум вижу глаза больных из палаты моей жены... И неотвязно звучат у меня в ушах ее последние слова. Она смогла выговорить еле-еле: «Петенька, ты был не прав... Прав Тихонич...» И дальше только мычала, потеряв дар речи, и слезы катились по ее лицу, и ледяной стала ее ладонь...

Петр Петрович отвернулся и стал укладываться на ночь, давая тем самым понять, что его рассказ окончен. Я молчал, не зная, что сказать. Меня поразила эта суровая быль, и я снова вышел в коридор, встал у окошка. Было много зла и несправедливости в этой пронзительной исповеди, но я начал уважать своего попутчика... За мужество его, за то достоинство, с которым он взял да и выложил мне всю правду о себе. Я вспомнил, как он вдруг прервал на секунду свой рассказ и спросил меня: «Скажи, а ты веришь, что душа способна жить, даже если плоть мертва?» Я возвратился в купе. Петр Петрович спал, тяжело вздыхая, постанывая... А я еще долго не мог заснуть.

Утром мы подъезжали к Москве. За ночь в нашем вагоне народу изрядно прибавилось. Петр Петрович хмурился. Он вновь стал тем человеком, которого я впервые увидел в Кургане, и в нем ничего не осталось от ночного Петра Петровича, расхристанного и мятушегося. Но он не стал другим. Он был тем, кем он был.

На Казанском вокзале мы тепло и сердечно распрощались.

– Ну, прощай, молодой человек! Да и забудь, пожалуй, о том, что я тебе этой ночью наговорил. Зря я, пожалуй, разоткровенничался, да и ни к чему тебе знать такое о жизни. Ты другое помни – помни, что мудрость всегда спокойна. Как степной беркут, который гордо озирается на вершине, выжидая добычу, так и мудрый человек – он наблюдает молча. Мудрые спокойны, мудрые молчат и ждут. А суетливые, непоседливые и другим вредят, а больше всего – самим себе.

И везет среди них лишь считанным единицам, так у этих единиц и судьба особая, благоволит судьба к этим людям...

Рукопожатие его было крепким. Он по-детски моргнул своими маленькими глазками и удобно устроился на заднем сиденье такси.

Я стоял у Казанского вокзала и думал о Петре Петровиче, о том, что его совесть, проснувшаяся на миг, потрясла меня своей бескорыстностью, но он тут же вновь уснул, уснул расчетливо, сознательно, ибо так ему было удобнее. И не крот он, нет, теперь он напоминал мне улитку, спрятавшуюся в свою хрупкую раковину. Я стоял у Казанского вокзала и думал – не найти ли мне знакомого носильщика, татарина Нияза, не оставить ли мне у него свою дорожную сумку, не повкалывать ли с ним недельку-другую, чтобы заработать денег на свое дальнейшее путешествие?

Я стоял у Казанского вокзала среди толчеи куда-то вечно спешащего, бранящегося, торопливого народа. Я поднял воротник и тоже включился в этот сумасшедший бег московской толпы.

(Окончание следует).

..........

В октябре 2016 года отмечают:

60-летие

Рахымжан ОТАРБАЕВ, прозаик

70-летие

Айтуар ОТЕГЕНОВ, поэт

Роллан СЕЙСЕНБАЕВ, прозаик

Алдан СМАЙЛ, прозаик

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!

